

ЮРИИ БУДАА | ТРЕТЬЕ СЕРДЦЕ



ЮРИИ
БУИЛА
ТРЕТЬЕ
СЕРДЦЕ
ДОН
ДОМИНО



ЭКСМО
МОСКВА
2010

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Б 90

Оформление серии *Андрея Саукова*

Дизайн обложки *Андрея Фереза*

Фото на 4-й сторонке обложки *Никиты Буйды*

Буйда Ю. В.
Б 90 Третье сердце / Юрий Буйда. — М.: Эксмо, 2010. — 192 с.
ISBN 978-5-699-41774-2

Юрий Буйда не напрасно давно имеет в литературных кругах репутацию русского Зюскинда. Его беспощадная, пронзительная проза гипнотизирует и привлекает внимание, даже когда речь заходит о жестокости и боли.

Правда и реальность человеческой жизни познаются через боль. Физическую и душевную. Ни прекрасная невинная юность, ни достойная, увитая лаврами опыта зрелость не ограждают героев Буйды от слепящего ужаса повседневности. Каждый день им приходится выбирать между комфортом и конформизмом, правдой и правдоподобием, истиной и ее видимостью. Ни один выбор — не идеален. Но иногда выбрать — значит совершить поступок. Какими ни были бы его последствия...

В новую книгу известного писателя, драматурга и журналиста Юрия Буйды вошли романы «Третье сердце» и «Дон Домино». Стилистические шедевры, они колеблются на грани Добра и Зла, зачаровывая и пленяя.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-41774-2

© Буйда Ю., тексты, 2010
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2010

ТРЕТЬЕ СЕРДЦЕ

Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, — и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря».

Иона, 1: 12

1

Пьяный губастый верзила с подбитым глазом в подземном переходе жонглирует двумя мячиками и рыжим апельсинчиком, рядом сидит на полу одноногая некрасивая девочка лет десяти-двенадцати с ярко накрашенными губами, провожающая злым взглядом людей, которые обращают внимание только на табличку, висящую у нее на груди, — «Купи меня, не то я тебе приснюсь» — так написано на табличке, — а он проходит мимо пьяного верзилы с подбитым глазом, жонглирующего в подземном переходе двумя мячиками и рыжим апельсинчиком, у ног которого сидит девочка лет десяти с ярко накрашенными губами, с табличкой на груди — «Купи меня, не то я тебе приснюсь», он бежит мимо, провожаемый злым взглядом одноногой некрасивой девочки лет десяти-двенадцати, сидящей у ног пьяного губастого верзилы, который в подземном переходе жонглирует двумя мячиками и рыжим апельсинчиком, вдруг падающим на землю и катящимся, — он оборачивается ему вслед, девочка закрывает глаза, и лицо ее гаснет, как апельсин на грязном полу перехода, — и он уже наверху, здесь много людей, машин, много света, поэтому он закрывает глаза, чтобы разглядеть лицо девочки с ярко накрашенными губами, с табличкой на груди — «Купи меня, не то я тебе приснюсь», но ее палящий злой взгляд мешает разглядеть ее лицо, поэтому он открывает глаза и видит рыжий апельсинчик, катящийся к его ногам, преследующий его наяву, как в страшном сне об одноногой девочке и рыжем апельсинчике, которым жонглирует в подземном переходе пьяный верзила с подбитым глазом, у ног которого сидит некрасивая девочка лет

десяти-двенадцати с ярко покрашенными губами, с табличкой на груди — «Купи меня, не то я тебе приснюсь», провожающая злым взглядом его, пробегающего мимо, убегающего, все еще бегущего мимо пьяного губастого верзилы с подбитым глазом, в подземном переходе жонглирующего мячиками рядом с некрасивой девочкой, у которой на груди висит картонка с надписью от руки печатными буквами «Купи меня, не то я тебе приснюсь»...

И не уйти, и не остаться. Это не тупик — это замкнутый круг, лабиринт, в котором бьется и мечется безмозглая совесть, пытающаяся отыскать выход там, где нет входа...

Мужчина в добротном сером пальто с меховым воротником опустил на корточки перед девочкой, сидевшей в подземном переходе у Триумфальной арки, снял шляпу и спросил:

— Мадмуазель, как вас зовут?

Он улыбался, от него пахло вест-индским табаком, английским одеколоном и хорошим коньяком.

— А тебе-то что, урод? — буркнула девочка.

— У меня никогда не было сестры, — сказал мужчина.

— Кого? — Девочка ловко закурила сигарету.

— Сестры.

— Сестры... — Она презрительно скривилась. — Такой глупости я еще не слыхала. Значит, тебе нужна сестренка, урод?

У нее был низкий женский голос.

— Меня зовут Тео, — возразил мужчина. — Я фотограф и педофил.

— Педо — кто?

— Педофил. Это значит, что я люблю детей.

— Похоже, ты иностранец, чучело.

— Какой же я иностранец, мадмуазель? Я русский.

— Урод, — пробормотала она и выпустила дым кольцами.

— Ну хорошо. — Он кивнул на ее табличку. — И сколько же вы стоите?

— Сто франков! — Девочка хрипло захохотала. — Сто франков, братец, и ни сантимом меньше! Ну, что скажешь, урод?

— Договорились, — сказал мужчина, поднимаясь и надевая шляпу. — Пойдемте.

— Вот урод. — Девочка сплюнула. — Проваливай, пока я не позвала полицию.

— Жаль, — сказал он, по-прежнему улыбаясь. — До свидания, мадмуазель.

И двинулся к лестнице, ведущей наверх.

— Проваливай! — отчаянно, с надрывом закричала девочка, вытягиваясь всем тощим телом в его сторону. — Убирайся, урод! Чертов урод!

Пьяный губастый верзила уронил апельсин.

Из будки на девочку укоризненно взирала толстуха, которая продавала билеты на смотровую площадку Триумфальной арки. Подумать только, сто франков! Муж толстухи во время войны получал четверть франка в день, подвергаясь при этом смертельной опасности. За четверть франка в день его проткнули штыком, отравили фосгеном, а вдобавок отстрелили левое яичко. Толстуха покачала головой: трудно даже вообразить, что с ним сделали бы за сто франков...

Она вдруг спохватилась, высунулась в окошко — мешала нечеловеческая грудь — и закричала вслед мужчине, поднимавшемуся по лестнице:

— Мадо! Ее зовут Мадо! Мадлен!

— Вот сука, — прошипела Мадо.

Но мужчина их не слышал. Он уже поднялся наверх. Вдоль Елисейских Полей загорались фонари. Он махнул рукой. У тротуара остановилось такси.

— Сен-Жерменское предместье, пожалуйста, — сказал он, откидываясь на сиденье. — Улица Гренель.

Шофер кивнул — вот уже несколько недель ему то и дело приходилось возить пассажиров по этому адресу — и тронул машину.

13 ноября 1926 года в Париже состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"». В ту пору русским пропагандистским фильмам, как и вообще авангардному кино, театры на Больших бульварах были заказаны. Поэтому известный кинодеятель Леон Муссиак, один из зачинателей движения кино клубов, показал русскую ленту с французскими субтитрами на Монмартре, в маленьком театрике «Артистик» на улице Дуэ (на той самой улице, где когда-то в доме Виардо жил Иван Тургенев).

Премьера эта стала сенсацией. А вскоре на Парижской выставке искусств фильм Эйзенштейна получил главный приз — «супергранпри». Как писали очевидцы, вечерами у «Казино де Гренель», где тогда крутили картину, толпилось до двух тысяч человек, прибывавших сюда, в Сен-Жерменское предместье, кто на велосипедах и в кепках, а кто на «Роллс-Ройсах» и в норковых манто.

В этом фильме рассказывалось о бунте на броненосце «Князь Потемкин Таврический» в июле 1905 года. Драматург с революционным прошлым Нунэ Агаджанова-Шутко написала огромный и неудобоваримый сценарий под названием «1905 год», но этим сценарием режиссер Сергей Эйзенштейн, можно сказать, пренебрег. Рыхлой политической хронике, сочиненной Агаджановой, которая по большому счету мало чем отличалась от унылого полицейского отчета, Эйзенштейн предпочел динамичную драму в духе Дэвида У. Гриффита: в «Броненосце» 1346 отдельных съемочных планов (в голливудских фильмах тех лет, которые считались образцом динамизма, в среднем таких планов было 600) стремительно летят друг за другом, не давая зрителю ни минуты передышки. Эйзенштейн создал чрезвычайно выразительное произведение, которое в силу своей примитивной архаичности и

часто помимо воли режиссера грубо пленяло что мужчин в кепках, что дам в норковых манто.

«Броненосец «Потемкин» много раз назывался «лучшим фильмом всех времен и народов». И как бы комично этот титул ни звучал, картина и впрямь является несомненным шедевром и вершиной мирового киноискусства. А тогда, в 1926 году, она стала еще и заметным событием французской духовной жизни.

В 1926 году жизнь во Франции была насыщенной, противоречивой и напряженной, как на скользком склоне крутой горы или на опасном перекрестке.

Третья республика проклинала вялый рационализм президента Думера и жила надеждами на старика Пуанкаре, который снова возглавил правительство и пообещал остановить девальвацию франка.

Многие все еще распевали песенку «Мадлон победы», напоминавшую о победе над Германией, но только что завершившаяся война в Марокко против рифов, которую выиграл маршал Петен, вызвала духовный кризис французской интеллигенции и активизацию фашистов из *L'ami du peuple*.

Министр иностранных дел Франции Аристид Бриан — вместе с министром иностранных дел Германии Густавом Штресеманом — получил Нобелевскую премию мира за примирение с Германией, но в церемонии вручения премии, к радости французов, участия не принял.

А тем временем Париж упивался джазом, читал «Mein Kampf», танцевал чарльстон и шимми, восхищался чернокожей танцовщицей Жозефиной Беккер и девятнадцатилетней американкой Гертрудой Эдерле, первой женщиной, переплывшей Ла-Манш — 34,80 мили (56,01 километра) — за 14 часов 31 минуту.

В Париже открылась Большая мечеть, построенная в самом центре города, в V округе, по инициативе и на средства французского правительства в качестве жеста благодарности Франции солдатам-мусульманам, отдавшим за нее жизнь в годы Первой ми-

ровой войны. Однако радикальные приверженцы ислама считали эту мечеть скорее издевательством, чем жестом благодарности: у большинства парижских мусульман не было приличной одежды, чтобы показаться в центре города, среди богатых буржуа.

Габриель Шанель придумала свое знаменитое «маленькое черное платье».

Тейяр де Шарден только что был изгнан из Католического института за неортодоксальную интерпретацию первородного греха применительно к эволюции человека и сослан в Китай, где вскоре сделал эпохальное антропологическое открытие, обнаружив и описав синантропа.

В Париж приехал Сальвадор Дали, сразу примкнувший к группе сюрреалистов во главе с Андре Бретоном. Авангардисты внимательно следили за киноэкспериментами Жана Эпштейна, Абея Ганса и Фернана Леже.

Николай Бердяев начал выпускать в Париже журнал «Путь», который стал, пожалуй, самым авторитетным центром интеллектуальной жизни русской эмиграции.

Таким был 1926-й. Этот год не был отмечен грандиозными событиями, однако профессор богословия Марбургского университета Рудольф Бультман, гуляя как-то по берегу Лана с другом, профессором Мартином Хайдеггером, назвал переживаемое время предродовым, промежуточным, *die qualvolle Pause zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung* — мучительной паузой между Распятием и Воскресением.

Металл раскалился, но еще не начал плавиться.

«Броненосец» не утонул в этой вавилонской плавильне, хотя за признание публики ему пришлось побороться с фильмом «Сын шейха», который благодаря секс-символу эпохи, любимцу миллионов женщин Рудольфу Валентино в главной роли стал рекорсменом французского проката.

В Париже тогда проживало около пятидесяти тысяч русских (в канун Первой мировой их во Франции было чуть более тридцати шести тысяч). Они молились в православных храмах, учили детей в русских школах и спорили о Достоевском в кафе «Ротонда», на дверях которого один едкий завсегда-тай однажды предложил начертать лозунг «Психопаты всех стран, соединяйтесь!».

Многие русские имена — антрепренера Дягилева, танцовщика Нижинского, композитора Черепнина, создавшего в Париже Русскую консерваторию, великой княгини Марии Павловны, владевшей модным салоном русских вышивок «Китмир», топ-моделей княгини Трубецкой и графини Белецкой (праправнучки Жуковского), парфюмера Эрнеста Бо, придумавшего Chanel № 5, имунолога Метальникова — были хорошо известны во Франции.

Однако мало кто из русских мог позволить себе деликатесы от Фошона и одежду из салонов, расположенных на Фобур Сен-Оноре. Большинству новых эмигрантов приходилось вкалывать за баранкой такси, на заводах Луи Рено в Бийянкуре или в многочисленных русско-цыганских кафе и кабаре. Первое русское кабаре открылось в 1922 году на улице Пигаль, в «районе красных фонарей», неподалеку от того самого театра «Артистик», где четыре года спустя состоялась премьера «Броненосца». Кстати, в отличие от испанских анархистов, румынских воров и итальянских бандитов, русские эмигранты в массе своей (как, впрочем, и поляки) не доставляли особых хлопот французской полиции.

Русские эмигранты по понятным причинам приняли фильм «Броненосец "Потемкин"» холодно, чтобы не сказать — враждебно. Левым французским эстетам было, в общем, наплевать на степень исторической достоверности картины — они восхищались ее мощной выразительностью. А вот русские парижане были возмущены весьма вольным обращением с фактами, допущенным

«евреем и большевиком» Эйзенштейном, который воспел бессмысленный и беспощадный бунт русских моряков, открывших огонь из корабельных орудий по мирному русскому городу. Тем не менее очень многие побывали сначала в театрике «Артистик», а затем в «Казино де Гренель», причем некоторые с одной-единственной целью — хотя бы на экране снова увидеть утраченную родину.

Именно с такой целью и отправился на улицу Гренель парижский обыватель русского происхождения Федор Иванович Завалишин, которого немногочисленные друзья звали просто Тео.

Он был родом из Одессы, в 1905 году был призван в армию и участвовал в умирении «потемкинских» беспорядков.

В то время по всей империи бунтовали миллионы человек, разочарованных поражением великой державы в войне с Японией, унижительными для России условиями мира и катастрофически снижающимся уровнем жизни в результате чрезвычайных военных расходов.

Летом 1905 года во время учений на Черном море взбунтовался экипаж броненосца «Князь Потемкин Таврический», который направил корабль в ближайший порт — Одессу. Поводом к мятежу стало червивое мясо, поданное матросам на обед. У матросов-бунтарей не было никаких идей, никакого плана и никаких целей — они всего-навсего хотели, чтобы к ним относились по-человечески. Того же самого, впрочем, хотела и вся Россия. Город охватили волнения, начались выступления рабочих и студентов.

Полк, в котором служил Федор Завалишин, был направлен на подавление этих выступлений. Так что у Тео были все основания считать себя участником событий, о которых рассказывалось в фильме. Но, повторяю, он шел в кинотеатр вовсе не ради того, чтобы погрузиться в пучину исторических и политических страстей.

Он купил билет, занял место в зале и расслабился в предвкушении отдыха. Конечно же, он и предположить не мог, что через

семьдесят пять минут после начала сеанса жизнь его изменится бесповоротно.

Вот как рассказывали об этом парижские газеты.

«Вчера поздно вечером господин Тео Z., фотограф с улицы Колленкур, явился в полицейский участок XV округа и заявил, что он совершил страшное преступление. Он выглядел возбужденным и расстроенным. Однако вскоре выяснилось, что его заявление скорее курьез, чем повод для вмешательства полиции.

А дело вот в чем.

Господин Z., родом из России, в 1905 году участвовал в подавлении мятежа на военном корабле русского флота, о чем повествует нашумевший русский фильм «Броненосец "Потемкин"», который сейчас собирает множество зрителей на окраинах Парижа. Господин Z. посмотрел этот фильм и был потрясен увиденным.

В этом фильме есть впечатляющая сцена расстрела бунтовщиков на широкой лестнице в Одесском порту. По словам господина Z., он принимал участие в том расстреле. Как он рассказал, начальство объяснило солдатам, что толпа портовых подонков решила воспользоваться смутой и собирается громить город. Рядовой не задумывался о верности этой информации и по команде офицера стрелял с довольно большого расстояния в людей на откосах у лестницы, пока толпа не рассеялась. А вскоре полк перебросили в другую часть огромной и беспокойной империи, и одесские события если и не забылись, то были заслонены другими впечатлениями.

После демобилизации господин Z. служил техником в русском отделении кинокомпании «Гомон», участвовал добровольцем в войне с Германией, в 1916 году был зачислен солдатом в состав Русского экспедиционного корпуса и попал во Францию, а после войны осел в Париже.

О подробностях своей военной службы в России господин Z. не вспоминал, пока в Париже ему не довелось пойти в театр на картину «Броненосец «Потемкин», в которой, как говорили дру-

зья, он мог увидеть свой родной город: картина пользовалась большим успехом, и ее стоило посмотреть. Только тогда, увидев на экране, в кого он стрелял много лет назад, этот человек, по его словам, понял ужас преступления, бессознательным участником которого он оказался. В состоянии, близком к помешательству, он отправился в контору кинотеатра и потребовал от администрации указаний, куда ему пойти, чтобы предать себя законным властям и понести должную кару за совершенное злодеяние. Его направили в полицию X V округа, где он и сделал свое странное признание. Ему подали воды, и тут-то с ним и случился припадок, сопровождавшийся судорогами. Господина Z. в бессознательном состоянии увезли в военный госпиталь.

Все свидетельствует о сильном душевном смятении, вызванном потрясением, которое этот бедняга только что перенес. Впрочем, по словам врачей, жизнь его сейчас вне опасности».

4

Заметку эту вытеснила на задворки тогдашняя новость номер один — сообщение о «довильской могиле». Об этом страшном происшествии писали все парижские газеты: хотя Довиль и находился в двухстах километрах от Парижа, на нормандском побережье, состоятельные парижане издавна привыкли считать отдых в Довиле неотъемлемой частью своей жизни.

Инвалид, служивший в госпитале на посылках, утром принес газеты, и Тео внимательно прочел статью об испытаниях новейшего гусеничного полноповоротного экскаватора с бензиновым двигателем. Испытания проходили неподалеку от Довиля, на участке с глинистой почвой. Там-то при вскрышных работах и была обнаружена странная и страшная могила, из которой были подняты семь слипшихся женских тел. Все женщины были зарезаны. Убийца или убийцы бросили их совершенно нагими в яму и за-

бросали землей. Полицейские врачи утверждали, что случилось это не далее как минувшим летом.

Жандармы опрашивали местных жителей, пытаясь установить личности убитых и мотивы преступления, но люди могли вспомнить только о киносъёмочной группе — это были трое или четверо мужчин и несколько женщин, которые несколько дней провели на окраине Довиля. Один из них, по словам свидетелей, носил под широкополой американской шляпой железный колпак.

Прочитав о железном колпаке, Тео нахмурился.

«Если это было убийством ради убийства, — писала газета, — то мы имеем дело с опаснейшим душевнобольным — или душевнобольными — вроде Джека-потрошителя, который орудовал в Лондоне в 1880-х годах. Но Потрошитель действовал в одиночку и лишь однажды убил двух женщин за один день, да и то в разное время. Выходит, довильскому преступнику удалось превзойти лондонского дьявола: он убил семерых сразу. Он резал этих несчастных одну за другой, может быть, даже на глазах друг у дружки, но что-то мешало им бежать или прийти на помощь подругам. Возможно, преступник обладает способностью к гипнозу? Или он просто напоил этих женщин, подсыпав им в вино какого-нибудь зелья? Ответов пока нет — есть лишь семь слипшихся грязных женских тел со следами ножевых ранений. Жандармерия Довиля уже связалась с набережной Орфевр, и уголовная полиция приступила к расследованию ужасного преступления».

На фотографиях можно было различить уродливый механизм со стрелой и ковшом, замерший у разверстой ямы, людей с носилками, здание мэрии Довиля. Снимки заметно различались качеством, из чего Тео сделал вывод, что фотографы пользовались не новейшими пленочными фотоаппаратами, а старыми переносными камерами с раздолбанными кремальерами.

Он отложил газету.

Довиль, эти слипшиеся трупы, мужчина в железном колпаке...

Завершая репортаж о страшной находке в Довиле, газета «Па-

ри суар» цитировала Ретифа де ла Бретонна: «Подобно солнцу, о Париж, ты распространяешь твой свет и твоё животворящее тепло на внешний мир, тогда как внутри ты темен, и тебя населяют дикие животные».

Католические издания вытащили на свет божий «Письма о Париже и Франции в 1830 году» немецкого историка Фридриха фон Раумера, который писал: «С башни Нотр-Дам осмотрел вчера ужасный город: кто построил здесь первый дом и когда обрушится последний, так что мостовые Парижа станут выглядеть как мостовые Фив или Вавилона?»

А бульварная пресса вспомнила «Парижского цирюльника» Поля де Кока: «Ах, мой мэтр! Сатана проник в наш бедный город и хочет сделать из него свое владение».

Словом, газетам было о чем писать, и они торопились: был канун Рождества, когда людям уже не хочется читать все эти мрачные истории. Поэтому информация о курьезном случае в «Казино де Гренель» была напечатана мелким шрифтом на последней полосе, в разделе «Происшествия», между историей про облаву в катакомбах, где по традиции собирался всякий сброд, и сообщением о сошедшем с рельсов трамвае неподалеку от Чрева.

Маловероятно, чтобы занятые предрождественскими хлопотами и шокированные «довильским делом» обыватели обратили внимание на заметку о каком-то русском чуде, сошедшем с ума в кинотеатре.

Эта газетная заметка не содержала ошибок, хотя и нуждалась в некоторых дополнениях и уточнениях.

В 1916 году Федор Завалишин действительно был зачислен в состав Русского экспедиционного корпуса в первую отдельную бригаду, но не солдатом, а специалистом по фотокиноделу при штабе корпуса, и был приписан к разведотделу. Жалованье ему положили офицерское. По прибытии во Францию он наравне со всеми прошел обучение в лагере Майи, в Шалоне, и был направлен на передовую неподалеку от Реймса. Он принимал участие в

боевых действиях, достигавших подчас такого накала, что даже полковым священникам приходилось подниматься в контратаку с оружием в руках.

Корпус нес большие потери, потому что солдат в него набирали не по боевому опыту, а по росту, цвету глаз и вероисповеданию, и больше всего в них ценилось умение ходить парадным шагом. Вдобавок русские части оказались без траншейной артиллерии и правильно организованной разведки.

Опыту Федора Завалишина подчас просто не находилось применения, и нередко, вместо того чтобы заниматься своим прямым делом, он участвовал в боях наряду с солдатами и офицерами. Позднее, в знаменитой битве при Суассоне, когда Русский легион (все, что осталось от экспедиционного корпуса) проявил массовый героизм, отражая прорыв германцев к Парижу, Завалишин заменил убитого командира пулеметного расчета, был ранен, контужен, лечился в Курти. Он был награжден французским Военным крестом с бронзовой пальмой, Военным крестом с серебряной звездой и дважды — русским Крестом святого Георгия.

По завершении войны он устроился техником на киностудии «Гомон», а когда Франция в 1922 году признала беженский «нансеновский» паспорт, позволявший русским легально заниматься бизнесом в тридцати восьми странах, — открыл собственное фотоателье. По воскресеньям он иногда ходил в зоосад, где с почетом содержался легендарный медведь Мишка, живой талисман Русского экспедиционного корпуса, пострадавший во время германской газовой атаки.

В госпитале Тео быстро пришел в себя. Он рассказал доктору Эрве, что почувствовал себя плохо сразу по выходе из «Казино де Гренель». Не помогла и рюмка абсента, выпитая в ближайшем кафе. Лица людей, стены домов, предметы — все было окрашено красноватым мерцающим светом; голова кружилась; тело будто оведал теплый ветерок. В полицейском участке после признания в преступлении, сделанного заплетающимся языком, он вдруг

упал и на несколько мгновений замер, после чего тело его искорежила судорога, ударила крупная дрожь, на губах выступила пена, то есть, как выражаются врачи, аура сменилась тонической стадией, перешедшей в стадию клоническую. Это была картина, характерная для эпилептического припадка. Во время приступа у больного случилось вулканическое семяизвержение, а температура тела значительно превысила нормальную.

По просьбе доктора Эрве, которого тревожило умственное здоровье пациента, — эпилептики нередко страдают прогрессирующим ослаблением памяти, — Тео без запинки перечислил все восемьдесят шесть деталей пулемета «гочкис», который называли «пулеметом победы», подсчитал свой заработок за все время пребывания на театре военных действий: ему платили 750 франков в месяц, тогда как нижнему чину в Русском экспедиционном корпусе — 0,75 франка в сутки (втрое больше, чем французскому рядовому), — и, не переводя дыхания, прочитал «Отче наш», объяснив, что это «Pater noster» по-русски.

— Это со мной впервые, доктор, — сказал Тео. — Я никогда не страдал падучей.

Доктор Эрве был опытным психиатром и понимал, что страна, которая месяц за месяцем теряла на войне около десяти тысяч мужчин в сутки только убитыми, еще не скоро обретет душевное здоровье. Душа Франции была воспалена и находилась во власти демонов тьмы. В госпиталях все еще было немало мужчин, которые в бреду командовали ротами, отбивались в траншеях от бошей и мочились под себя, падая во сне с небес в горящих аэропланах. Врач прописал Тео воздержание и покой.

5

Бельведер, примыкавший к главному зданию госпиталя с южной стороны, выходил в сад, где среди оголенных деревьев по узким дорожкам уныло бродили больные. Устро-

ившись поудобнее в плетеном кресле с сигарой и газетами, Тео иногда бросал взгляд на этих бедолаг в серых шерстяных халатах, за которыми присматривали суровые сестры милосердия.

Здесь, на бельведере, его и нашел Жак-Кристиан Оффруа, журналист, автор заметки о происшествии в «Казино де Гренель», сотрудник газеты «Пари матен». Это был тщедушный юноша с острой нижней челюстью, которую он старательно выпячивал, чтобы произвести впечатление волевого человека — вроде Бенито Муссолини или Эме Симон-Жирара, исполнившего главную роль в нашумевшем двенадцатисерийном блокбастере «Три мушкетера».

Коллеги в шутку называли его «вашим преосвященством»: даже в репортаж о поимке мелкого воришки он норовил вставить цитатку из Священного Писания (которую редакторы, разумеется, с удовольствием вычеркивали). Господин Оффруа учился в иезуитском колледже и поэтому стал бунтарем и мечтателем. Он бунтовал против Бога и хотел соединить в своих книгах — Жак-Кристиан мечтал стать писателем — яркую вульгарность Библии с ядовитым психологизмом Достоевского, который в те годы вошел во Франции в большую моду.

Происшествие в «Казино де Гренель» поразило Жака-Кристиана. Как раз накануне этого события он наконец прочел «Братьев Карамазовых». В этом романе один из главных героев, монах Зосима, рассказывал о человеке, который некогда совершил преступление и забыл о нем. Но спустя четырнадцать лет внезапные муки совести сделали его существование невыносимым и побудили его открыться и объявить себя злодеем. После этого признания он заболел непонятным недугом и вскоре умер. Умер он, как утверждает рассказчик, просветленным. Старец Зосима радуется этому, «ибо узрел несомненную милость Божию к восставшему на себя и казнившему себя».

Ученику иезуитов была понятна эта радость, хотя она и вызывала у него протест, а будущему писателю хотелось понять, что

же за человек этот здоровяк, так не похожий на худосочных и истеричных героев Достоевского. Тео произвел на юного господина Оффруа сильное впечатление. Судьба напала на него из-за угла, застала его врасплох, как царя Эдипа или апостола Павла. Он был готовым героем романа, и было бы глупо этим не воспользоваться.

Тео встретил его улыбкой и кивком пригласил садиться.

Жак-Кристиан опустился в плетеное кресло рядом с Тео.

— Как вы себя чувствуете, Тео? — спросил он, раскуривая трубку.

— Доктор Эрве говорит, что через день-два может меня выписать.

— А потом?

— Потом, мсье?

— Ну да, что потом, Тео? Не хотите же вы сказать, что ваша жизнь останется прежней? Вы только что пережили потрясение... Вы столько лет считали себя человеком, которого каждое утро видите в зеркале, и вот вдруг узнали о себе что-то новое, что-то такое, что ставит под сомнение всю вашу прежнюю жизнь... Вдруг оказалось, что внутри вас все эти годы как будто жил другой, темный человек... Разве это не потрясение?

Тео кивнул.

— С этим ведь нужно что-то делать...

— Наверное, вы правы, мсье, — сказал Тео. — Но пока у меня нет никаких планов. — Он помолчал. — Однажды в ночном лесу под Суассоном мы столкнулись с немцами. Неожиданно, нос к носу. Для немцев это тоже было неожиданностью. Ночь, туман, лес... Мы молча бросились друг на друга в штыки. — Он снова сделал паузу. — Только вообразите, мсье: несколько сотен мужчин с оружием в руках дрались в том лесу почти вслепую. Удар, удар, еще удар... Это был не бой — это была настоящая свалка. В темноте было слышно лишь громкое дыхание да удары железа о железо... и еще хрипы и вопли раненых... И вдруг над лесом вспыхнула осветительная бомба... вспышка магния... — Тео склонился к

журналисту. — Что чувствует человек, который вдруг увидел, что в темноте поразил своим штыком лучшего друга? И как ему после этого жить, мсье?

— Ну да, я именно об этом и говорю, — растерянно пробормотал Жак-Кристиан, вообще-то не ожидавший такого поворота. — Такое и Достоевскому не снилось... Вы читали Достоевского, Тео?

— Я фотограф, мсье.

— Ну да... — Жак-Кристиан много бы дал за то, чтобы кто-нибудь вдруг сейчас вошел и позвал его, например, к какой-нибудь умирающей сестре или хотя бы к телефону. Он вдруг заметил в руках Тео газету с броским заголовком, кричавшим о «довильском деле», и обрадовался. — Знаете, а я как раз сейчас занимаюсь этим убийством...

— Занимаетесь?

— Ну да, вообще... — Жак-Кристиан был страшно рад сменить тему разговора. — Видите ли, месяца три назад я получил странное письмо с фотографией... — Он извлек из кармана конверт, вытряхнул из него фото и протянул Тео.

Со снимка на Тео смотрел бравый весельчак в лихо заломленной на затылок армейской фуражке.

— На нем форма Русского легиона, — сказал Тео.

— В письме сообщалось, что это убийца, хотя не было ни слова о самом преступлении. Убийца — и все. Тогда еще не было известно о преступлении в Довиле, и я решил, что это написал какой-нибудь сумасшедший...

— Вот как...

— А вчера я получил другое письмо... взгляните...

На другой фотографии был запечатлен изможденный мужчина средних лет с воспаленными глазами, заострившимися чертами хмурого лица и взглядом загнанного в угол хищника. Казалось, его губы дрожат, и казалось, что он вот-вот закричит. На голове у него был неглубокий металлический колпак.

— Это тот же самый человек, — с гордостью сказал господин

Оффруа. — Он пишет, что это он совершил убийство в Довиле. Вообразите! И знаете, что еще он написал? — Журналист сделал паузу. — Арестуйте меня! Вот что он написал. Арестуйте и казните меня, потому что у меня уже нет сил казнить себя.

Тео поднял брови.

— Ну да, — спохватился Жак-Кристиан, — звучит, пожалуй, напыщенно, но я ему почему-то верю. — И смущенно добавил: — Интуиция.

— Вот как...

— Я не знаю, почему он выбрал именно меня, да это сейчас и неважно. Важно то, что волею судьбы я оказался в центре расследования... — Он покраснел: выражение «волею судьбы» показалось ему слишком уж вычурным. — Моя газета держит пока эти фотографии в секрете, мы пока ничего не сообщали полиции... Представляете, какая это будет сенсация, если мы первыми найдем убийцу и натянем нос полиции? Я опросил многих парижских фотографов, встретился со многими людьми, служившими в Русском легионе, но пока никто его не признал. — Жак-Кристиан щелкнул пальцем по фотографии изможденного хищника. — Кажется, ему здорово досталось...

— Война, господин Оффруа.

Господин Оффруа встал.

— Я его, конечно, найду, тем более что он и сам этого хочет...

— А так бывает?

— Так — как?

— Чтобы преступник хотел своего ареста... чтобы его поймали...

— Бывает, я уверен, — сказал Жак-Кристиан без особой уверенности. — Например, когда Бог застаёт грешника врасплох...

— Бог?

— Продавец стыда. — Юный господин Оффруа смущенно улыбнулся. — У нас в колледже был один преподаватель, который называл Бога продавцом стыда. Некоторым людям приходится

платить за этот товар непомерную цену, и иные этого не выдерживают. Я думаю, что довьильский убийца как раз из таких людей.

Он вдруг подумал, что в устах человека в дорогой шляпе слова о стыде, грехе и Боге звучат неубедительно, и пожалел о том, что не надел кепку.

Он поправил шляпу.

— Пожалуй, мне пора...

— Господин Оффруа!..

— Да?

— Вы ведь не просто так приходили, правда?

— Просто так? — Жак-Кристиан растерялся. — Что вы имеете в виду?

— Я только хочу знать, с какой целью вы ко мне приходили.

— Цель... — Жак-Кристиан покачал головой. — Простите меня, Тео, я просто хотел понять, верю ли я в Бога, как прежде... извините...

Тео встал и протянул журналисту руку.

— Ну что ж, тогда помолитесь за меня, господин Оффруа.

— Помолиться?

— Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, — проговорил Тео, с улыбкой глядя в глаза Жаку-Кристиану.

— Это же Евангелие от Марка, — сказал Жак-Кристиан. — Ну да что ж, Бог всегда заявляется некстати, такая уж у него должность...

— Хозяин вернулся. Понимаете?

— Ну да, конечно, я все понимаю! — Жак-Кристиан схватил руку Тео и крепко ее сжал. — Всего доброго, Тео, мне, к сожалению, пора...

И почти бегом покинул бельведер.

На углу он остановил такси и велел водителю ехать на площадь Сен-Мишель, к известному на Монпарнасе кафе «Ла Болле», где у стойки бара сводили счета апаши, а в зале со сводчатым потолком, помнившем Оскара Уайльда и Поля Верлена, — литераторы.

В кафе Жак-Кристиан выпил у стойки рюмку перно. В зальчике, куда вела массивная коричневая дверь, было многолюдно, но в углу нашлось свободное местечко, и Жак-Кристиан с облегчением опустил на стул. Сейчас он люто ненавидел Достоевского, ненавидел Тео и, конечно, себя. Но сильнее всего он ненавидел Бога.

Однажды в пансионе Жак-Кристиан, которого товарищи считали тощим недомерком и всячески унижали, заманил на чердак и изнасиловал дурочку Лулу, дочь кастелянши. У девчонки вечно текло из носа, а изо рта пахло, как из братской могилы, но тело у нее было свежим и тугим, как спелая слива. А вскоре у нее стал расти живот, и ее матушка потребовала учинить расследование. Жак-Кристиан до сих пор с дрожью вспоминал тот день, когда в сопровождении старшего наставника-иезуита бородавчатая мадам кастелянша с брюхатой дочерью обходила строй воспитанников, заставляя Лулу повнимательнее вглядываться в лица мальчиков, чтобы указать на преступника. Лулу с дурацкой своей улыбкой останавливалась то перед одним, то перед другим мальчишкой, и все замирали в ужасе, но Лулу только смеялась и хлопала себя по огромному животу. Когда она остановилась перед Жаком-Кристианом, он чуть не упал в обморок, но все обошлось: он только обмочился. Дурочка же лишь улыбнулась ему и двинулась дальше. А спустя месяц она умерла от пневмонии. После этого Жак-Кристиан возненавидел Бога, поскольку никаких других свидетелей его преступления не осталось.

— Мсье! Эй, дружище!

Жак-Кристиан вдруг очнулся. Бородатый субъект в широкополой серой шляпе с захватанными полями — он сидел напротив — вопросительно смотрел на него, словно ожидая ответа. Это

был типичный представитель монпарнасской фауны — из тех, кто не сомневается в своем великом будущем, а пока прозябает в ничтожном настоящем за рюмкой абсента.

— Что вам угодно, мсье? — спросил Жак-Кристиан со вздохом.

— Наказание не следует за преступлением с той неизбежностью, о которой твердит Достоевский, — проговорил бородатый, назидательно подняв палец. — Оно неизбежно лишь в том случае, если Бог существует и если Он управляет добром и злом, как кучер — белыми и черными лошадьми. Но обитель зла здесь! — Он стукнул себя в грудь, и с бороды его что-то закапало. — И именно там, в человеческом сердце, в этой обители зла, и рождается добро! — Зажмурился и замотал головой. — Боже, как же все запутано! — Икнул. — А вот мой батюшка говорил, что не бывает плохих людей, а бывают только плохие поступки. Поэтому люди и знают, что такое стыдно, а что такое стыд — этого не знает даже Спиноза... Но если никто не знает, что такое стыд, откуда же взяться счастью? Ведь счастье — оно бесстыже... Вы счастливы, друг мой? Разве вам не хочется счастья? Настоящего счастья?

— Нет, мсье. — Жак-Кристиан одним глотком выпил перно. — Я на диете.

Доктор Гастон Эрве носил черные очки с прямоугольными стеклами, слишком большие манжеты с агатовыми запонками и слыл нелюдимом. Коллеги ничего не знали о его семье или привязанностях, но уважали его педантичный холодноватый профессионализм. А он давно понял, что люди с нервными и психическими болезнями больше всего нуждаются только в одном лекарстве — в скуке, рутине, ритуальных банальностях, потому что именно повторение общих мест и является известью, скрепляющей личность. Поэтому доктор Эрве и не говорил своим пациентам ничего такого, чего они втайне не желали бы услышать сами.

Выписывая Тео из госпиталя, доктор Эрве посоветовал ему употреблять в пищу больше жирного и меньше сладкого, то есть прописал так называемую кетогенную диету, которую часто рекомендуют эпилептикам.

— Свежий воздух и никаких волнений. И постарайтесь выкинуть из головы этот фильм. Чувство вины — очень опасное чувство, — сказал доктор, который успел проникнуться симпатией к этому простодушному гиганту с седым ежиком на круглой голове. — Нередко чувство вины заставляет человека совершать роковые поступки, превращает его в раба и чудовище. А призраки — это мы сами... Все мы иногда спотыкаемся о собственную тень, но не стоит по этой причине отказываться от десерта. Вы любите море?

— Море, мсье?

— Сейчас зима, но прогулки у моря были бы вам чрезвычайно полезны. Почему бы вам не съездить, скажем, в Довиль? Там хорошо даже зимой... И поосторожнее с крепкими напитками!

— Это поможет?

Что-то в его голосе заставило доктора Эрве насторожиться. Он поднял брови.

— Видите ли, — продолжал Тео, — вот уже третью ночь я просыпаюсь от детского плача... это девочка...

— Девочка? — Доктор насторожился. — Здесь нет детей.

— Я знаю, мсье. Но она плачет. Это девочка лет десяти-двенадцати. Одноногая девочка. Она плачет и плачет, и я просыпаюсь... а потом не могу заснуть...

— Одноногая... — Доктор нахмурился.

— Да, мсье, у нее одна нога. Она очень несчастна. А я не могу заснуть.

Доктор Эрве задумчиво кивнул.

— Видите ли... — Он вдруг запнулся и снял очки. — Я родился в маленькой деревушке неподалеку от Орлеана...

Тео слушал его с непроницаемым лицом.

— Это было во время предпоследней войны с германцами, — продолжал доктор, глядя на свои пальцы. Он говорил тусклым, размеренным, невыразительным голосом. — Пятьдесят шесть лет назад, когда прусские войска заняли Орлеан, мою мать изнасиловали баварцы. Двое баварских пехотинцев. Ей не было восемнадцати, когда я появился на свет. — Он помолчал. — Вы даже представить себе не можете, какво нам приходилось. Мою мать называли шлюхой, а меня — сыном шлюхи и немецким отродьем. Наши соседи были простыми крестьянами... простые люди, мсье, которые верят в ад, но сомневаются в существовании китайцев... — Снова помолчал. — В конце концов мать не выдержала и покончила с собой. А меня отдали в монастырский приют. В монастыре жила одна монахиня, старуха, ее называли Овечьей Матушкой. Все считали ее сумасшедшей и колдуньей. Она целыми днями бродила по полям в сопровождении овцы... у нее была белая овца, которая бегала за нею как собака... Мы, дети, ее побаивались. Однажды она остановила меня и протянула камень... — Доктор достал из кармана маленькую коробочку. — Маленький белый камень. Голыш, каких много было на берегу реки. Она велела мне держать этот камень за щекой. Она сказала, что камень вберет в себя все зло, которое скопилось в моей душе. Я спросил, сколько же нужно держать этот камень за щекой, и она ответила: «Пока не почернеет»...

Доктор Эрве открыл коробочку. Внутри на черном бархате лежал маленький плоский камешек, обычный речной голыш.

— Белый, — сказал Тео.

— Разумеется, — без улыбки откликнулся доктор, пальцем двигая коробочку к Тео. — Мне хочется подарить его вам. Я называю его овечьим... овечий камешек...

Тео усмехнулся.

— Так, значит, поменьше сладкого?

— И побольше жирного. — Доктор надел черные очки. — Эта ваша улыбка — следствие контузии?

— Да, — сказал Тео. — Спасибо, господин Эрве.

Он сунул коробочку в карман и вышел из кабинета.

6

Время приближалось к полудню, когда Тео покинул госпиталь. Он купил свежий номер «Пари матен», а также «Пари-тюрф», хотя на ипподроме бывал довольно редко, и зашел в маленькое бистро, где заказал коньяку.

Доктор Эрве подарил ему на прощание свежий номер «Кайе дю психоложи», в котором рассказывалось о важном недавнем событии — создании Парижского психоаналитического общества, а также публиковалась заметка, в которой упоминалось имя Тео Z., то есть Федора Ивановича Завалишина.

В этой заметке рассказывалось о том, что на каком-то там заседании этого самого общества выступил некий доктор Дюбелле, который сказал, что «случай Тео Z.» является ни много ни мало примером пробуждения Бога в человеке, то есть пробуждения всего прекрасного, что до поры до времени таилось в душе этого человека, но было разбужено к жизни потрясением от встречи с произведением искусства, каковым следует признать русский фильм «Броненосец "Потемкин"».

«Не будем, впрочем, забывать о том, что человек этот сейчас, по всей видимости, подвергается страшному испытанию, — сказал доктор Дюбелле. — Вся его жизнь висит на волоске. Он стоит на краю пропасти. Он стоит перед выбором между опасностями новой жизни и той комфортной рутинной, которая спасает нас от безумия. Недаром же поэт Рене Рильке однажды заметил: *das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang*, то есть *прекрасное — то начало ужасного, которое мы еще способны вынести*».

А дальше в заметке шла и вовсе сплошная тарабарщина: внут-

реннее «я», бессознательное, мандала, гештальттерапия, альбедо, нигредо...

«Поди разбери, о чем это они, — подумал Федор Иванович, пряча журнальчик в карман. — Вроде про меня сказано, а как будто и не про меня. Ну какое из меня альбедо? Тем более — нигредо...»

Федор Иванович пребывал в растерянности. Он чувствовал себя так, словно этот чертов броненосец «Потемкин» — водоизмещением 12 900 тонн, длиной 113,2 и шириной 22,2 метра, со всеми его сорокatreхтонными пушками, стреляющими трехсоткилограммовыми снарядами, с двадцатью двумя клокочущими паровыми котлами и четырехметровыми рокочущими гребными винтами, со всеми его семьюстами тридцатью матросами, офицерами и червивой говядиной, со всей его мукóй, отчаянием и ненавистью — полным ходом — ледяной лязг орудийных затворов, грозный шум взрезанной форштевнем воды — шел на него, а он, Федор Завалишин — всего-навсего человек, в котором мягкого было больше, чем твердого, всего-навсего один из нас — не в силах шевельнуть даже пальцем, сдвинуться с места, будто загипнотизированный приближающимся чудовищем, безмозглым и безжалостным Левиафаном из бесчеловечной библейской бездны...

Тео не знал, что делать, и даже не знал, нужно ли что-то делать.

Он не понимал толком, что с ним произошло. Он мог на равных поддержать разговор о свойствах парааминофенола и тиосульфата натрия, но почтительно умолкал, когда речь заходила о Боге, совести, судьбе и прочих таких же материях. Еще в детстве его научили чтить десять заповедей, и он их чтил: никогда не спал с женщинами в долг и не плевал на трупы врагов. Священник говорил, что совесть — это глас Божий в человеке, а Федор Иванович был убежден в том, что он верит в Бога. При этом он старался почитать законы не только Божеские, но и человеческие. И вот в полицейском участке ему сказали, что во Франции нет таких законов, по которым его можно было бы судить за преступление, якобы совершенное им двадцать один год назад, а в теперешней

России законов нет вовсе. Люди не хотели или не могли его судить, а речь Бога была невнятна. Если спустя два десятилетия Бог вдруг почему-то очнулся и заговорил в Федоре Завалишине и даже повел его в полицию — Тео вспомнил красные двери участка и мучительный запах горячего сургуча, — то почему же, сказав «а», не сказал «б»? И если не Он, то кто же тогда должен произнести это самое нечеловеческое «б»?

Федор Иванович не привык отвечать на нечеловеческие вопросы. Он выпил еще одну рюмку «Курвуазье», закурил серую гамбургскую сигару и отправился в гости.

Друзей в подлинном смысле слова у него было совсем не много, и одним из первых среди них был Сережа Младшенький. До войны он окончил в Париже политехнический институт, а в 1916 году, как и Тео, записался добровольцем в Русский экспедиционный корпус. Вообще-то фамилия его была Петров, но в русской армии всех Петровых или Ивановых было принято нумеровать: Петров-первый, Иванов-второй, иногда — называть по старшинству: Иванов-старший или Петров-младший. Поскольку в полку было с десяток Петровых, а лицо Сережино напоминало счастливую розовую пятку младенца, его и прозвали Младшеньким.

Сережа гордился тем, что в 1918 году вошел в Вормс в составе оккупационных войск Антанты во главе русского взвода. Он любил рассказывать о том, как были шокированы и возмущены немцы, увидев над вормской ратушей русский триколор — флаг победителей, которых немцы считали побежденными.

По окончании военной службы он несколько лет бедствовал, не чурался даже грязной работы, одно время помогал Тео, который как раз тогда расширял свой бизнес и нуждался в помощниках. После долгих мытарств Сережа устроился инженером в Парижский метрополитен и был на седьмом небе от счастья: для чело-

века с нансеновским паспортом это было огромной, неслыханной удачей.

Сережа снимал квартиру на набережной Турнель и всегда был рад встрече с однополчанином и земляком: Младшенький тоже был родом из Одессы.

Федор Иванович поспел к обеду, который приготовила Анна Ильинична, жена Младшенького, добрая женщина кобылей ста-ти, немного стеснявшаяся своей чрезмерности. Она была беременна и ходила перевязанная по животу шалью.

За обедом Федор Иванович рассказал о своем приключении в «Казино де Гренель» и недолгом пребывании в госпитале.

Сережа тотчас принялся горячо убеждать друга в том, что «большевики, разумеется, лгут», поскольку точно известно, что солдаты тогда стреляли в воздух, поверх голов, и никого убитых в Одесском порту в те дни не было.

— Вот ты стрелял в людей? — спросил он. — Не могли же солдаты просто так пострелять и убежать с места расстрела. Будь там убитые, ты бы видел. Ты же военный человек, Федор! И сам в кинематографе работал! Неужели не понимаешь?

— Понимаю, но не помню, — признался Тео. — Помню, как они разбегались, а как падали — не помню.

— Не помнишь только потому, что этого не было.

— А что же тогда было?

— Гипноз, — ответил Сережа. — Кинематограф, брат, сам знаешь — искусство гипнотическое, облачное. Вот тебе и внушили, что ты виновен. Ты говоришь, что это глас Божий, — а ну как это дьявольское искушение? Призрак! То-то! — Он захохотал. — Ну вас к лешему, русские вы мои! Вот за что я люблю писателя Золя, так это за пристрастие к фактам. Он сообщает мне факты, которые вызывают у меня доверие, и благодаря этим фактам я узнаю его героев и понимаю, чего они хотят. — Он поднял палец. — Поэтому господин Золя — гуманный писатель. Если господин Золя вдруг увидит в лесу тигра, он испугается и убежит. И я это пони-

маю, потому что и я поступил бы так же, как всякий нормальный безоружный человек. А вот коли господин Достоевский встретит тигра, он задрожит, покраснеет и останется на месте. Как это понять и что это за человек? Я начинаю даже подозревать, что это и не человек, а такой же тигр. — Сережа покачал красивой бритой головой. — Что Достоевский, что Толстой — жестоки, жестоки, ей-ей, и вовсе не любят они меня. Ведь они, со всеми их фантазиями и озарениями, зовут меня не к узнаванию, а к познанию. По их милости я вынужден мучиться вместе с ними, фантазировать, гадать, молиться — да на что ж мне это? Бог, дьявол, совесть... Облака! — Он налил в зеленые граненые рюмки водки и подмигнул Федору Ивановичу. — Вот у нас в метрополитене придумано множество различных штук, чтобы в случае чего не допустить гибели людей. Гуманнейшие устройства! В кабине поезда, например, установлена особенная кнопка, на которой всегда должна лежать рука машиниста. Пока эта кнопка в нажатом положении, поезд может двигаться. А если с машинистом что-нибудь случится, ну, скажем, сердечный приступ или там обморок, рука его с кнопки упадет, и поезд ни за что сам собою не пойдет в тоннель, и люди останутся невредимы. Называется эта система «рукой мертвого человека». — Лицо его расплылось в счастливой улыбке. — Вот это — бог, вот это я понимаю! Идеал!

Анна Ильинична со вздохом покачала головой: она не одобряла мужнина вольномыслия.

Федор Иванович выпил водки и стал собираться. Сережа и Анна Ильинична вышли за ним в прихожую. Младшенький похлопал друга по плечу.

— Ну, брат, держись! Большевики говорят: искусство принадлежит народу — вот пусть оно ему и принадлежит. А мы с тобой не народ, мы с тобой беженцы, птицы странные! Что делать-то станешь? Выход искать?

— А что его искать? — Тео пожал богатырскими плечами. — Где вход, там и выход.

— Глаза-то себе выкалывать не собираешься? — с усмешкой спросил Сережа.

— Глаза?

— Это старая история. Один царь узнал, что по неведению совершил преступление, и выколол себе оба глаза...

— Глаза?

— Ну да. От стыда. Наверное, в те времена люди считали, что стыд и тьма — одно и то же.

Тео покачал головой.

— Я ж фотограф, — сказал он. — Как же без глаз?

— Ну ладно, ладно, шуток не понимаешь, — заторопился Сережа, неловко тыча огромного Завалишина кулаком в живот. — Про глаза — это греческая история, а твоя история — русская. Русская история про русское сердце... Ты не обижайся на меня, ладно?

Федор Иванович с высоты своего роста смотрел на него с улыбкой.

Анна Ильинична перекрестила Завалишина.

— Без стыда рожу не износишь, Феденька, — сказала она со вздохом.

Федор Иванович вдруг смутился, поцеловал почему-то Сережу в лоб и вышел.

Он остановился на набережной у парапета и закурил. Он давно привык к Парижу. Ему нравилось в свободное время бродить здесь, в центре, лениво поглядывая на шиферные крыши острова Сен-Луи, на клошаров, пивших из горлышка дешевое лиловое вино на Новом мосту, он любил запах аниса, доносившийся из всех кафе в час аперитива, щебет Тюильри и даже хищных химер, вскарабкавшихся на древние стены храма и вззирающих с высоты на воды Сены, которая на закате вдруг становилась черной и золотой, как пролитая кровь...

Здесь, на набережной, он часто покупал у букинистов старые

фотографические открытки, эстампы и гравюры игривого содержания, а то и прямо порнографические, по тогдашним понятиям, копии работ Пьетро Либерти, Агостино Каррачи, Джакомо Каральо, Исраэля ван Менекена, Яна Стена, Ватто, Пуссена и их многочисленных безвестных собратьев. Букинисты любили этого представительного господина, который платил щедро и не торгуясь. Иногда он болтал с ними о том о сем, греясь у жаровни, на которой старик-еврей жарил каштаны.

— Мсье Тео! — закричала коротконогая усатенькая толстуха в зеленом вязаном пальто, митенках и красной шляпке с узкими полями, из-под которых выглядывали смешные седые буколки. — Мсье!

Он дружески поздоровался со старой знакомой, которую товарки и завсегдатаи звали Туанеттой. У нее были бледно-лиловые губы, а ее чрево напоминало пузатый корпус корабля со старинной гравюры.

— Только для вас, мсье Тео. — Она с многозначительным видом протянула ему книгу, завернутую в чистую тряпицу. — Только взгляните, какие картинки.

Туанетта знала, что больше всего Тео ценил в книгах иллюстрации.

Он с улыбкой взял книгу. Иллюстрации — изысканные цветные ксилографии — были и впрямь замечательны. Но на этот раз Тео заинтересовался и текстом. Это была «Книга дузелей» Оливье де ла Марша, изданная в 1568 году.

Федор Иванович отошел к парапету, снял перчатку с правой руки, перевернул несколько страниц, остановился и углубился в чтение. Его зацепила история о собаке рыцаря де Мондидье.

...Мессир Обери де Мондидье, богатый, красивый, всеми иными щедротами судьбы одаренный рыцарь, пользовался всеобщей любовью при дворе короля французов Филиппа. Мужчины полагали за честь поддерживать с ним дружеские отношения, дамы обожали его. И был у него друг, мессир Машер, которого мессир

де Мондидье любил как брата. Этот же мессир Машер завидовал черной завистью тому, что господин Обери пользуется благорасположением короля и его подданных. Однажды они охотились вдвоем в лесу Бонди близ Парижа, и завистник ударом меча в спину лишил жизни мессира де Мондидье, а труп забросал ветками и листьями.

Все это видела борзая, принадлежавшая убитому. Она не отходила от тела, пока ее не прогнал голод. Она побежала во дворец, и там, увидев убийцу, бросилась на него и чуть не задушила. И как ей ни мешали, бросалась на него столько раз, что король и его приближенные заподозрили неладное. Собаку покормили, и она вернулась к телу хозяина. За нею же, по приказу короля, последовали некоторые из придворных, которые и обнаружили труп мессира де Мондидье. Король Филипп созвал совет, на котором было решено передать дело на суд Божий: чтобы очиститься от страшного и ужасного подозрения в предательстве и убийстве, мессир Машер должен, вооружившись лишь палкой и щитом, сразиться с борзой на острове Нотр-Дам.

Наутро на острове, при большом стечении народа и в присутствии короля, один из придворных отпустил собаку, которая бросилась на мессира Машера так быстро и с такой силой, что сразу впечилась ему в глотку, и ничего тот не мог поделать. Мессир Машер был повешен, мессир же Обери де Мондидье — похоронен с почестями. Так свершилось возмездие...

Федор Иванович перевел дыхание и улыбнулся счастливой улыбкой. Он по-детски любил истории о разбойниках и колдунах, пещерах, подземных ходах, кладах, рыцарях и красавицах, истории о любви, верности и справедливом воздаянии — истории со счастливым концом. Его героями были д'Артаньян и граф Монте-Кристо, на полке в спальне у него стояли все тридцать два романа о Фантомасе, а также книги о похождениях Рокамболя. Он любил картинки, и стоило ему увидеть книгу с хорошими иллюстрациями, даже если речь шла о старинном медицинском трактате

или записках палача, как рука его тянулась к кошельку. Гравюра же в книге господина Оливье де ла Марша — напрягшиеся в ожидании король с придворными, стремительная борзая, похожая на язык хищного ярко-алого пламени, пораженный ужасом мессир Машер с палкой в левой руке — так и вовсе восхитила его выразительной композицией и гармонией страстных цветов — карминно-красного, лазоревого и зеленого. Тео заметил, что люди на гравюре были изображены анфас и лишь мессир Машер — в профиль. Так повелось с древнейших времен: живописцы изображали Иуду только в профиль, чтобы зритель даже ненароком не встретился с ним глазами.

— Стоящая книжка, — сказал он, вынимая бумажник. — Дешеплезная. Благодарю вас, мадам.

— Мсье... — Туанетта взяла купюру двумя пальцами за уголок, как опасное насекомое. — Вы уверены, что книга стоит таких денег?

— За удовольствие надо платить, мадам, таков мой принцип.

— Ну тогда... — Быстро оглядевшись по сторонам, Туанетта достала из мешка книжечку. — Это в придачу, мсье.

Это была порнографическая книжка.

— Какая маленькая, — сказал Тео. — Умещается в руке.

— Чтобы другая рука оставалась свободной. — Мадам Туанетта покраснела и кокетливо улыбнулась, и усики ее хищно встопорщились.

Расплатившись, Тео двинулся по набережной к Новому мосту. С книгой под мышкой он направился в сторону площади Мобер, где жил его друг Иван Домани.

7

Иван Яковлевич Домани был тяжело ранен в голову в самом конце войны. Почти год он провел в госпитале. Ему сделали несколько операций, удалили верхнюю часть че-

репной коробки, и, чтобы предохранить мозг от повреждений, ему приходилось постоянно носить на макушке тонкую стальную полусферу, которая плотно облегла голову. Он жил в трущобах в районе площади Мобер, в полутемной двухкомнатной квартире с кухней, хотя мог позволить себе жилье и получше.

По выходе из госпиталя этот любимец женщин, балагур и весельчак превратился в унылого и раздражительного субъекта, который оживлялся лишь после двух-трех рюмок водки, но тогда становился вспыльчивым до экзальтации. Из-за болезненного пристрастия к малолеткам обоего пола он вел замкнутый образ жизни. Единственным его другом был Федор Завалишин, который доставлял Ивану Яковлевичу возможности заработать.

Тео не придавал чрезмерного значения слабостям старинного товарища. Он любил поговорить на отвлеченные темы с Домани, который не расставался с Достоевским и Паскалем.

Федор Иванович поднялся на четвертый этаж по тоскливой узкой лестнице и постучал.

Ему открыла женщина лет тридцати пяти — тридцати семи, одетая в несвежий халат, с гладко зачесанными волосами, с узким и темным русским большеглазым лицом, какие бывают у святых и пьяниц. Она страдальчески улыбалась, она была боса.

Рядом с нею вдруг возникла красивая пьяненькая девочка лет двенадцати-тринадцати — в туфлях на высоких каблуках, с крашенными губами и синяком под глазом. Она подняла подол до груди — под платьем ничего не было — и томно улыбнулась.

— Фу, Шимми! — сказала женщина со смешком. — Что подумает наш гость! Да проходите же, Федор Иванович!

— Мьсе Тео, — пропела девочка, — я порочна, как вавилонская блудница, но люблю танцевать... — Она подпрыгнула и села на шпагат. — Оп-ля!

Федор Иванович снял шляпу, вежливо перешагнул через голую ногу Шимми и быстро прошел в дальнюю комнату. Пахло го-

рельым маслом, и всюду были открыты окна. Где-то внизу, во дворе, играла шарманка.

Иван Яковлевич сидел в углу, с ногами забравшись в полуразрушенное вольтеровское кресло, и лихорадочно листал толстую книгу.

У окна висела клетка с серовато-бурой птицей.

Окно здесь тоже было открыто, и в комнате было очень холодно.

Подоконник был завален всяким хламом: пузырьки, бутылки, катушки ниток, молоток на длинной ручке, ножницы, книги, пепельница, полная окурков, модные журналы, обрезки ткани...

— Федя! — обрадованно закричал Домани. — Сейчас обедать будем! Настя! Шимми!

— Не надо обедать, Иван Яковлевич, — сказал Завалишин, опускаясь на стул. — Я поговорить.

— Знаю, знаю... Вот послушай! Это сто семьдесят второй фрагмент Паскаля! Это чудо как хорошо! — Он отвернулся к стене и вдруг закричал навзрыд: — Мы никогда не живем настоящим, все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано, и так суетны, что мечтаем об исчезнувшем, забывая об единственном, которое существует. А дело в том, что настоящее почти всегда тягостно. Мы тщимся — тщимся! — продлить его с помощью будущего, пытаемся распорядиться тем, что не в нашей власти, хотя, быть может, и не дотянем до этого будущего! — Иван Яковлевич внезапно остановился, вскрикнул и продолжал уже обычным голосом: — Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них только прошлое и будущее. Только! О настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то в надежде, что оно подскажет нам, как разумнее устроить будущее. Мы никогда — никогда! — не ограничиваем себя сегодняшним днем: настоящее и прошлое лишь средства, единственная цель — буду-

щее. Вот и получается, что мы никогда — никогда! — не живем, а лишь располагаем жить и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем!..

— Иван Яковлевич... — начал было Тео, но Домани замахал рукой, и гость запнулся.

— Это же Иисусово слово! — страдальческим голосом проговорил Домани. — Встань и иди! Ничего не откладывай на завтра, не медли, не тяни, не жди благоприятной минуты — нет, милый, сегодня, сейчас, сию же минуту, в том виде, каков ты есть, все брось и делай немедленно, безотлагательно! Нельзя и невозможно откладывать себя на завтра, на потом, потому что никакого потом не будет, а значит, не будет и тебя истинного! Сейчас или никогда! Знаешь, каково подлинное имя Иисуса Христа? Господин Сейчас! Господин Вдруг! — Он перевел дух, сник, поправил стальную шапочку. — Ну чего тебе, Федя? Зачем пришел?

— Газеты пишут, что в Довиле... — Федор Иванович оглянулся на дверь. — В Довиле нашли трупы семерых девушек, Иван Яковлевич. Помнишь девушек, Ваня?

— Суки! — закричал вдруг Иван Яковлевич, вскакивая с кресла. Он был высок, тощ и бос. — А ты думаешь, легко жить с этим? — Он коснулся щепотью стальной шапочки. — Легко? — Он понизил голос. — У меня от головы пахнет! Мозг гниет, Федор! Смердит! Ты знаешь, как чувствует себя человек, у которого испорчено левое полушарие головного мозга? Доктор сказал, что у меня поражена зона Брока в третьей лобной извилине, где представлены моторные образы слов, и зона Вернике в первой височной извилине и в надкраевой извилине теменной доли, где представлены слухоречевые образы слов. Слухоречевые! — выговорил он с презрением по слогам. — Я ничего не понимаю. У меня со слухом и речью все в порядке. — Он помолчал, глядя на Федора своими красивыми дикими глазами. — Я давно думаю о любви и сладострастии, точнее, о любострастии. Как отличить настоящую любовь от нечистой страсти? Я думаю, что в настоящей любви не-

пременно присутствует хоть доля грязи, греха, мрака, поверь мне, иначе любовь не тянула бы нас во тьму, где нас поджидают чудовища. Любовь — тонкая химия, а у меня мозг гниет! Он разлагается и смердит. Я не могу заснуть. Этот запах... — Он замотал головой. — Вот уже восемь лет я не могу заснуть. Я не сплю. Я пытаюсь думать о любви, а думаю о зоне Брока и надкраевой извилине, будь она неладна. Она смердит, эта извилина. Она кишит трупами моих мыслей. Эти зеленые трупы вспучиваются, лопаются и распространяют зловоние. Помнишь, как в немецких траншеях... трупы... Воззри! — Вдруг снял стальную полусферу и наклонил голову, чтобы гостю лучше было видно, но Федор Иванович отшатнулся. — Глубокие извилины, доверху заваленные мертвецами. Меня рвет, я не могу спать, мысли гниют и смердят, они мне противны, эти мысли, особенно по ночам, они ползут, извиваются, как мерзкие черви, они заполняют все извилины, зону Брока и зону Вернике, они выбираются из этих извилин и ползут, ползут, как боши из своих вонючих траншей... — Он всхлипнул и надел шапочку. — Ты думаешь это как? Это каково, а?

— Я ничего не думаю, — спокойно проговорил Тео, глядя на него снизу вверх. — Война и есть война. Доктор сказал, что тебе повезло. Ты мог лишиться способности к речи, а вот не лишился. Тебе повезло. — Помолчал. — Но скажи мне, зачем ты это сделал, Иван Яковлевич? Зачем ты их так? Разве мы так договаривались? Мы же собирались только пофотографировать. Только-то. Мы же договаривались сделать наше дельце, расплатиться и тихомирно уехать. Я тебе доверился, Иван Яковлевич... Они ж совсем молодые девушки. Насилу я их уговорил, и вот... — Он вздохнул. — Душа моя сокрушена, Иван Яковлевич, а ведь ты мой друг, и я тебя люблю...

— Апостол Павел говорит, что любовь — это мир превыше всякого ума. — Иван Яковлевич с высокомерным видом вернулся в кресло. — Мой гниющий ум... — Он зябко передернулся и снова всхлипнул. — А любовь, оказывается, хуже войны, если у тебя вме-

сто члена — резиновая трубка... никак не могу привыкнуть к этой твоей улыбке, Федор... У тебя просто омерзительная улыбка!..

Федор Иванович не обратил внимания на его слова — он давно привык к тому, что мысли и чувства несчастного Домани непрерывно скачут, мечутся, бьются, словно припадошные, и уследить за ними попросту невозможно.

— Они же покладистые девушки, душевные, — продолжал Федор Иванович, — они бы тебя приласкали, трубка там у тебя или что, уж как-нибудь. Но резать-то зачем? Резать-то? У них же человеческие имена были... И скажи мне ради Бога, зачем ты письма эти писал в газету? Письма-то? Неужто ты и впрямь хочешь, чтобы тебя поймали? А мы? Мы-то все как, Иван Яковлевич? Как быть твоим товарищам? Сереже Младшенькому, Пузырю Иванычу и прочим? — Он качнул головой. — Эх, Иван Яковлевич!..

— Любовь, — с горечью повторил Домани, отворачиваясь к стене. — Мы ждем, готовимся жить, готовимся любить, а любовь безотлагательна, она нас не ждет, Федя, идет себе мимо, дальше. Страшная, страшная гадина... — Тихо всхлипнул. — Пусть ловят. Я устал, Федя, и ну его все это к черту. Может, оно и к лучшему, коли поймают... Некуда больше бежать...

— Так не пойдет. — Тео встал, надел шляпу и подошел к креслу. — Ты товарищей подводишь, Иван Яковлевич, а так нельзя... жена Младшенького ребеночка ждет... как же можно? Ребенок-то чем виноват? Ребенок-то? У тебя горячка, и ты, брат, не отвечаешь за себя...

— Я устал. Я ничего не хочу и не могу. Пусть будет что будет. На себя руки наложить — это нет, не могу, а жить вот так... — Домани со странной улыбкой взглянул на Тео. — Вы-то — здоровые!..

— Иван Яковлевич... — Тео наклонился к нему. — Неужто ты это из зависти, а? Зависть, Ваня, это смертный грех, душегубство. А, Ваня?

— Только попробуй! — закричал Домани, закрывая голову руками и срываясь на визг. — Не смей меня трогать! Не смей, скотина!

Он вдруг швырнул в Тео книгу и попытался выпрыгнуть из кресла, но Федор Иванович навалился на него сверху, протянул руку, нашарил на подоконнике молоток и ударил Домани по голове, потом еще раз. Подтянул ковер, лежавший на полу, и набросил его на застывшего в кресле Ивана Яковлевича.

В комнату вбежала босая женщина с большими ножницами в руках. Она молча бросилась к Тео, ударила его в плечо, он с силой оттолкнул ее, она стукнулась о стену и сползла на пол.

— Вот черт, — пробормотал Тео, склоняясь над нею. — Настя... да как же так, Настя... — Он взял ее за руку: женщина была мертва.

Когда он вошел в соседнюю комнату, Шимми закричала, топая ногами:

— Я дитя! Дитя! Меня нельзя! Я милое дитя!

Она вскочила на подоконник, пошатнулась, схватилась за раму.

— Полиция! — завопила она что было мочи, откидываясь назад. — Помогите же кто-нибудь! Полиция!

— Шимми... — Тео шагнул, протягивая к ней руку. — Да Шимми же, Бог мой!..

Девочка отпрянула и вдруг, ахнув, выпала из окна.

Тео лег грудью на подоконник и увидел Шимми, лежавшую посреди грязного дворика уродливым белым цветком у ног слепого шарманщика.

Он вернулся к Ивану Яковлевичу, перекрестил его, снял с крюка клетку с птицей и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. И только на улице вспомнил о «Книге дуэлей», которую забыл у Домани, но возвращаться не стал.

Через несколько минут он остановил такси, велел шоферу ехать на авеню Жюно. Оттуда он добрался пешком до площади Тертр, зашел в кафе, заказал виноградной водки, поставил рядом с собой клетку с птицей и снял шляпу. Остроухий хозяин заведения что-то остервенело писал, прижимая лист бумаги к стойке черным протезом. В углу дремал старик, по его лысине полз клоп. Тео выпил водки, закурил и опустил веки.

Ему было плохо. Он не хотел убивать ни Настю, ни Шимми. А Иван Яковлевич... Тео не знал иного способа, чтобы заставить Домани молчать. Похоже, Иван Яковлевич, измученный вседневной лихорадкой и дурными видениями, свихнулся окончательно, коли взялся писать эти дурацкие письма в газету и требовать, чтобы его заарестовали. Ну разве станет человек в здравом уме так поступать? Будь он один, еще куда ни шло, но ведь арест Домани, который не отдавал отчета в своих словах и поступках, мог навредить многим друзьям — друзьям Домани и Тео. А этого Тео допустить не мог. Если бы нашелся иной способ, исключавший убийство, Тео, разумеется, воспользовался бы им. Но такого способа, похоже, просто не было. Обезумевшего зверя следовало остановить любой ценой. Он убил человека, но совершил ли он при этом преступление? У Тео не было определенного ответа на этот вопрос, потому что убийство было вынужденным, как на войне.

Он вспомнил вдруг один разговор с Иваном Яковлевичем. Причина и повод забылись, — да Иван Яковлевич редко утруждал себя поиском повода, — а вот сам разговор запомнился. Речь зашла о греческом чудовище Минотавре. Царица Пасифая родила его от быка, и ее супруг, царь Минос, заточил Минотавра в Лабиринте, где тому было суждено провести всю жизнь, пожирая людей, которых приносили в жертву.

«Минотавр, — сказал Иван Яковлевич, — жертва чужого стыда. Стыда блудной матери и стыда ее мужа, царя Миноса, огорченного ее изменой. Они заточили в Лабиринт свой смрадный стыд, который принял облик мерзкого выблядка — Минотавра. А сам-то Минотавр совершенно невинное создание, обреченное до смерти жить в темнице и убивать людей. Но ведь, Федя, он мог изменить свою участь. Ничто не мешало ему покинуть Лабиринт: не было ни стражи вокруг, ни заборов, ничего такого не было. Так что ничто ему не препятствовало на пути к свободе, кроме чужого стыда, который ему навязали и который стал его стыдом. И Мино-

тавр так и не отважился переступить через этот стыд, чтобы обрести свободу. Понимаешь? Свобода — удел бесстыжих, Федя!»

«Да что б он стал делать на свободе — с такой-то рожей? — спросил Тео. — Где бы он пару себе нашел? А если нет пары, то и свобода эта ни к чему. Да и убили бы его, Иван Яковлевич: а ну как снова за людей примется?»

«А это другой вопрос, Федя, — усмехнулся Домани. — Либо стыд и любовь, либо — свобода и смерть».

«Либо — либо? Это как-то не по-людски, Ваня, не по-божески...»

«Наверное, бывает такая минуточка, когда стыд, любовь, свобода, жизнь и смерть сходятся в какой-то одной точке и сливаются где-то там, наверху, во что-то одно, темное и радостное, но кто ж знает, когда это бывает и что это за точка... Кто знает, что ждет Минотавра за воротами Лабиринта? Он волен взять свободу, а уж потом свобода возьмет свое, и случиться может всякое. Как сказал поэт, *свободен первый шаг, но мы рабы второго*».

— Вот тебе и любовь, — прошептал Тео. — Вот тебе и любовь, Боже правый, Иван ты мой Яковлевич...

Он выпил залпом еще одну рюмку арманьяка и заплакал, закрыв лицо шляпой.

8

В юности Федор Завалишин был без ума влюблен в Минну Милицкую, красавицу, хохотунью и несносную стерву. У нее были глубокие карие глаза с электрическими бешеными искорками в глубине, матовая белая кожа и блестящие каштановые волосы. А он служил лаборантом у ее отца Николая Карловича, известного в Одессе фотографа. По вечерам собирались в гостиной, пили чай, вино и невозможный греческий ликер, слушали музыку, танцевали, дурачились. За Минной ухаживали все молодые люди, которые бывали в доме Милицких, во-

енные и штатские, а она кокетничала напропалую и требовала, чтобы ее называли Клеопатрой.

«Ну вас к черту! — говорил худощавый красавец Немченко, медицинский студент, высланный из Петербурга за участие в беспорядках. — Вы твердите о Клеопатре, а мечтаете сыграть роль Достоевской паучихи, у которой любовь купить можно только ценой смерти!»

«Не люблю я вашего Достоевского, — нараспев отвечала Минна, — ему с женщинами не везло, вот он всю жизнь и клепал на них. Но в одном он прав: в любви должен быть яд. — Она вдруг наклонилась к Федору Завалишину, сиднем сидевшему весь вечер в углу, и повторила низким грудным голосом: — Яд... яд... яд...»

Она словно заклинала его. А Федору показалось, что вот сейчас из ее ротика выскочит раздвоенный язык, коснется его, и он упадет и растворится в сладком обмороке.

В начале лета его призвали на службу, но в субботу он вырвался в увольнительную, чтобы побывать на даче Милицких и сказать наконец Минне, что любит ее, обожает ее, что готов пить ее яд всю жизнь, до самой смерти.

На даче, как всегда, собралось великое множество гостей, и Федор весь вечер просидел в углу. Он пил вино, говорил себе: «Вот сейчас, сейчас!», но все не осмеливался подойти к ней. Она сама пригласила его танцевать — он был неловок. Минна была не в духе. Офицеры ухаживали за гостьей, московской актрисой, и красавец Немченко весь вечер танцевал только с москвичкой.

Когда гости стали расходиться, Минна позвала Федора в беседку, стоявшую над морем. Они долго молчали, а потом девушка вдруг взяла его за уши и принялась целовать в губы, враскоряк. Он замычал, обнял ее. Она откинулась на спинку скамьи и подняла левой рукой грудь. Федор коснулся губами ее нежной кожи. Минна оттолкнула его и встала. Нехорошо улыбаясь, она подняла вдруг подол. На ней был пояс с чулками, но не было панталон. Федор

опустился на колени и, совершенно все позабыв, обезумев, впился губами в ее детский лобок, с силой сжимая ее ягодицы.

«Нет! — сказала вдруг Минна сорванным голосом, вся дрожа. — Феденька, милый, нет! Не сейчас, потом... завтра... потом, Феденька...»

Он с трудом встал, умоляюще глядя на нее.

«Я ваша, — глухо проговорила она, — но не сейчас... может быть, завтра...»

И быстро ушла в дом.

Он вернулся в полк, но не мог ни о чем думать, кроме как о Минне, о ее сладких губах, о ее влажном лобке, о ее тугих ягодицах. Он ругал себя, называл себя сатиром и эротоманом, но ничего не мог с этим поделать, и сейчас, двадцать один год спустя, в Париже, когда он увидел выпуклый детский живот и лобок пьяненькой Шимми, не мог ни о чем думать, а только о Минне, о ее глазах, ее хриплом, сорванном шепоте: «Я ваша», о ее лобке и ягодицах. Это было что-то вроде пожара. Он жил в огне, он горел, он не мог ничего поделать. Он думал о Минне и ее влажном лобке, когда их подняли по тревоге и они побежали тяжелой цокающей массой к порту. Слепило солнце, стояла жара, офицеры были взвинчены, и их возбуждение передалось солдатам, их возбуждение сошлось и смешалось с тем возбуждением, которое ни на минуту не оставляло Федора. Из-за этого возбуждения он не мог разобрать и половины слов, не слышал команд, действовал машинально, как все: вскинул винтовку и выстрелил, передернул затвор и снова выстрелил, глядя вниз, на лестницу, по бокам которой, вдали, пластались какие-то человеческие фигурки, но он видел их словно боковым зрением, думая только о Минне, только о ее голосе, взгляде, ее ягодицах, о детском пахучем лобке, снова о Минне, о ее губах и сорванном хриплом голосе: «Я ваша», передернул затвор, было жарко, его мучила жажда, выстрелил, горячая волна ударила в сердце и погасла в чреслах, он содрогнулся, как при оргазме, снова передернул затвор и вскинул винтовку...

Ну да, теперь-то он понимал, почему фильм этого Эйзенштейна произвел на него такое сильное впечатление. Все дело лишь в том, что он, Федор Завалишин, был тогда слишком захвачен мыслями о Минне и не видел тех, в кого стрелял, он даже не мог сейчас сказать наверняка, стрелял он в них или нет, в них или поверх голов, падал кто-нибудь или нет. Он был ослеплен. Господь возбудил в нем любовь, но он, Федор Завалишин, перешел ту черту, которая отделяет подлинную любовь от смертоносного любопытства, дар от греха, и Господь ослепил его. И вот теперь он платит за то, в чем участвовал и не участвовал двадцать один год назад, летом 1905 года, и поди разбери, что он там сослепу натворил.

Он вспомнил фильм — лестница, ряды солдат с винтовками, лица, коляска с младенцем, скачущая по ступенькам, потом — грозную массу броненосца с его страшными пушками и чудовищным форштевнем, безжалостно режущим тяжелую воду, — и затряс головой.

Хозяин за стойкой поднял голову и уставился на Федора.

— Все знают, каково это, — сказал вдруг хозяин, — но мы-то знаем, каково это на самом деле. Люди уже забыли, чего стоит победа. Человеческая память — штука коварная, лживая, черт ее побери. Верно, дружище?

Федор кивнул, снова выпил водки.

Вскоре после подавления «потемкинских» беспорядков он получил увольнительную и тотчас бросился за город, на дачу Милицких. Минны в доме не оказалось, он вышел в сад и тут увидел ее. Она лежала на кушетке, раскинув ноги, с широко открытыми глазами и искаженным лицом, вся напряженная, жилистая, красная, похожая на освежеванную собаку. Красавец Немченко, в одном только льняном пиджаке, лежал сверху, присосавшись к ее груди, и его голая задница мерно поднималась и опускалась. Он был в каучуковых галошах на босу ногу.

Федор на цыпочках вышел из сада, прошел на цыпочках до по-

ворота, сел на извозчика, вышел в центре и на цыпочках дошел до своего дома. Он хотел было застрелиться, но стреляться не стал.

Спустя месяц Минна Милицкая и Немченко уехали за границу, в Париж, а Федор вскоре перебрался в столицу и устроился лаборантом в кинокомпании «Гомон». Позже, когда он оказался во Франции, у него иногда возникало желание разыскать в Париже Минну, встретиться с нею, но желание это быстро угасало. Зато он встретил здесь Шимми, которая подняла подол до груди и показала ему свой детский выпуклый лобок...

Федор Иванович придвинул к себе клетку с птицей.

Птица была серовато-бурой, с длинным носом, сплюснутым у кончика, тельце ее отливало фиолетовым и зеленым, грудь была в мелких белых пятнышках.

— Вы не знаете, что это за птица? — спросил он у хозяина.

— Это не ворона, — сказал остроухий задумчиво. — Может быть, дрозд? Или кукушка... Вы хотите ее выпустить?

— Выпустить? — Федор Иванович покачал головой. — Я об этом не думал. Вряд ли это пойдет ей на пользу: в Париже хорошо живется только воронам.

Хозяин ослабился.

— Черт возьми, так сделайте это где-нибудь в лесу! В конце концов Франция — родина свободы.

Федор Иванович поблагодарил, расплатился, надел шляпу, взял клетку с пестрой птицей и вышел.

9

Вот уже пять лет он снимал у мадам Танги дом на улице Коленкур, на склоне Монмартра. Дом был приличный: здесь не было стен, оклеенных бумажными обоями. В первом этаже Тео устроил ателье и лабораторию, а во втором была его квартира. На третьем этаже жила мадам Танги.

Как и все бретонки, мадам всегда носила траур, а взгляд ее вы-

цветших глаз напоминал о знаменитом брестском морозящем дожде. Она была высокой и корпулентной женщиной. Когда ее называли коровой, ее супруг меланхолично возражал: «Зато это самая красивая корова Французской республики», и лет двадцать назад это было истинной правдой.

Ее покойный муж был родом из глухой деревушки, но добился в Париже немалых успехов в качестве краснодеревщика: его мебель пользовалась спросом у богатых буржуа. Он погиб от разрыва сердца 21 марта 1915 года во время первого налета германских дирижаблей на Париж, оставив жене приличные сбережения и кое-какую недвижимость.

Вдова Танги сохранила приверженность к соленым блинам, которые запивала смесью сидра с водкой (le rommeau), а 19 мая, в день святого Ива, покровителя Бретани, она приглашала Тео к столу, украшением которого были маринованный угорь и колючая ветка золотого утесника в высокой вазе — символы ее малой родины.

Две ее дочери были неплохо пристроены: одна вышла замуж за адвоката, другая родила троих детей владельцу небольшой текстильной фабрики близ Лиона.

Мадам Танги не интересовалась делами постояльца. Фотографироваться она не любила, даже побаивалась, считая, что фотографы крадут у людей души, однако и против ничего не имела: Тео был исправным арендатором и зарабатывал такие деньги, что мог позволить себе не только автомобиль, но даже телефон, которым разрешал пользоваться и хозяйке.

По воскресеньям мадам Танги непременно ходила в церковь на площади Тертр, после обеда занималась любовью с вдовым соседом, папашей Леду, по вечерам раскладывала пасьянс и рано ложилась спать.

Именно вечерами в ателье и творилось таинство черно-белой порнографии.

Федор Иванович Завалишин занимался изготовлением высо-

кокачественных порнографических открыток, пользовавшихся огромным спросом на теновом рынке. Днем к нему приходили обычные клиенты: семьи с детьми, влюбленные парочки, дружеские компании, а вечером он фотографировал голых женщин.

Началось это еще на киностудии «Гомон», где было много красивых девушек, много их поклонников, а также много сомнительных дельцов, которые выпускали то, что во всем мире называлось «парижским кино». Федор Иванович тогда как раз женился, нуждался в деньгах, и когда ему предложили поучаствовать в ночных съемках, с радостью согласился. Впрочем, порнофильмы ему не понравились: движение лишало женщину тайны, а значит, и подлинной красоты. Поэтому он предпочитал фотографию.

Цирковая, карнавальная атмосфера киностудии и кинематографа вообще вполне располагала некоторых актрис — речь шла, конечно, не о таких звездах, как великая Мюзидора, — шутки ради, но чаще, конечно, ради денег сниматься неглиже. Их примеру следовали статистки, машинистки, гримерши, которые стремились перещеголять актрис в надежде на то, что эти обольстительные снимки попадутся на глаза продюсерам и режиссерам, подбирающим актрис для своих новых фильмов. А их фото пользовались успехом как у поклонников, так и у дельцов.

Деньги полились рекой потом, когда дельцы начали вовсю торговать высококачественными нескромными снимками. Поначалу же Тео было просто интересно решать чисто творческие задачи: ведь снимать обнаженное тело гораздо труднее, чем многие думают. Более того, как вскоре с удивлением обнаружил Тео, нагое тело подчас обманчивее одетого. Может быть, потому, что одетый человек стыдится только своего лица, а голый — он весь состоит из срама.

Однажды он побывал в Лувре, где среди многих картин увидел портрет Джоконды. Тео остолбенел: эта женщина улыбалась, как улыбаются только красивые обнаженные женщины, смущенные и счастливые, когда они впервые открывают свое прекрасное тело

любовнику или только что пережили оргазм. Ее улыбка была чудесной, волшебной, но вовсе не загадочной, как говорили ему друзья.

Федор Иванович не был сатиром. Он не раз брался читать книги известных эротоманов и порнографов — Бероальда де Бервиля, Теофиля де Вио, Адольфа Бело, Марсея Прево, Армана Сильвестра, Эмиля Золя, он даже осилил скабресную книгу «*Toletanae satira sotadica de arcanis amoris*», приписываемую адвокату Шорье, а также сочинения маркиза де Сада, которого Иван Яковлевич Домани называл «Иисусом наоборот», он листал многочисленные бельгийские непристойные книжки, но не испытал при этом ничего, кроме скуки. Может быть, все дело было в том, что слову он предпочитал изображение: Тео был свято убежден в том, что в раю царит молчание.

Среди его натурщиц не было типичных проституток из парижского цеха святой Магдалины, то есть изможденных алкоголичек и наркоманок. Тео хорошо знал вкусы клиентов, поэтому отбирал для съемок женщин в теле, тех, кого с легкой руки Ги де Мопассана называли *boule de suif*, пышками. Это было непросто: распространенный тогда тип женщины вообще и тип проститутки в частности представлял собой низкорослое создание почти без шеи, с широкими бедрами и большой материнской грудью. Благодаря своим связям Тео часто пользовался услугами так называемых секретных проституток, то есть чистых женщин — матерей семейств, продавщиц, учительниц, студенток или школьниц, о промысле которых знала только полиция. Некоторые из них занимались этим из любви к искусству, большую же часть толкала на этот путь материальная или телесная нужда: страна была наводнена искалеченными мужчинами, неспособными удовлетворить запросы своих жен и возлюбленных. Эти женщины прилично питались, и у них была хорошая кожа и та ненаигранная жертвенная томность во взгляде, которая так нравится мужчинам.

Тео пользовался некоторой известностью: к нему залетали да-

же пташки с Больших бульваров — кокаинистки с прическами à la page, как у Луизы Брукс, безгрудые от природы или с перебинтованной грудью, узкобедрые, с вялотекущими телами и окровавленными порочными ртами, принимавшие ванны с йодом, чтобы выглядеть загорелыми, потому что на темной коже хорошо смотрится жемчуг. Они щеголяли в шлемах авиаторов и в коротких юбках, открывавших расшитые серебром подвязки с бриллиантами и чулки с напечатанными на них портретами любимых мужчин или любимых собачек.

Его жена вскоре умерла от испанки. А спустя два года он встретил на улице девушку, которая сказала, что ей скоро шестнадцать. У нее не было родителей: отец погиб на фронте, а мать умерла от инфлюэнцы.

«Я никогда не пробовала апельсинов, — сказала она, — а ведь я еще девственница, мсье».

Он привел ее к себе и стал с нею жить.

Ее звали Крикри. Или бедняжкой Крикри: при ходьбе она прихлопывала ногу. Девушка была полноватой, некрасивой, с близко посаженными маленькими глазками и острым носом. Она сутулилась, хотя высокой назвать ее было нельзя, и смотрела на всех исподлобья. Было в ее облике что-то крысиное, что-то хомячье, что-то пухловато-детское, вызывавшее умиление, смешанное, однако, с легким омерзением. Она всегда пряталась по углам, держалась в тени и помалкивала.

С утра до ночи Крикри тенью шныряла по дому, за всеми подглядывая и утаскивая в комнату все, что плохо лежит. Она всюду устраивала тайнички — в шкафу и под шкафом, в старинном тяжелом комоде и за комодом, под половицами, даже в стене, где когда-то была ниша, позднее небрежно заделанная. Она хранила в тайниках чайные ложки, булавки, обрезки цветной бумаги, гляцевые открытки, стальные перья для ручек, пуговицы, монеты и прочую мелочь. Вещь, бесстыдно лежавшая на виду — книга, ножницы или шелковый лоскут, — вызывала у Крикри непреодо-

лимое желание схватить, унести, спрятать ее подальше от людских глаз.

Крикри всегда была чем-нибудь недовольна.

«Нет, ты меня не любишь, — хныкала она, — может быть, ты меня жалеешь, как жалеют всех калек, но разве это любовь?»

Она была дурнушкой, но у этой дурнушки было дивное тело. Тео терял рассудок, когда она снимала одежду: ее выпуклый детский живот и высокий лобок, пахнувший лавандой, сводили его с ума. Он терзал ее плоть, рыча и захлебываясь слюной, он доводил ее до умопомрачения, но и сам иногда терял сознание, достигнув оргазма. Это безумие, думал он, это порочное самоослепление.

Со временем Крикри еще более округлилась и стала еще капризнее. Она подружилась с мадам Танги, и они вместе ходили по воскресеньям в церковь. Когда подручный мясника приносил заказ, она встречала его в кухне — сидела на стуле, разводя и сводя колени и глядя на него ядовитым взглядом, а он прятал глаза, чтобы не видеть ее полных лодыжек. Вскоре его отец умер, и он стал хозяином мясной лавки, но все равно продолжал сам приносить заказы, хотя у него появились подручные. Они перекидывались ничего не значащими словами, Крикри разводила и сводила колени, а мясник — его звали Полем — отводил взгляд от ее полных лодыжек.

Она рассказывала ему о фильме «Сын шейха» с Рудольфом Валентино, на котором только что побывала: все дамы в кинозале были в шикарных платьях, все в драгоценностях — чтобы, как говорится, быть во всеоружии, если Валентино вдруг бросит на них взгляд с экрана.

А Поль рассказывал об уютном домике на берегу Луары, который он присмотрел на случай женитьбы: как хорошо сидеть вдвоем на берегу, попивая белый лангедокский мускат со льдом и наблюдая за резвящимися в высокой траве детишками...

— Лангедокский мускат слишком крепок!

— Лед, мадам! Лед снижает крепость. А главное, конечно, чистый воздух...

— Да, чистый воздух...

Крикри требовала, чтобы служанка и кухарка называли ее «мадам», и с наслаждением кричала на них, особенно на малышку Лу, недотепистую деревенскую девчонку. Однажды, когда малышка Лу убирала в спальне, Крикри повалила ее на пол, разорвала на ней платье и искусала грудь. Малышка Лу пожаловалась хозяйке, но мадам Танги накричала на нее, обозвала маленькой шлюхой и отхлестала по щекам. Мадам Танги покровительствовала Крикри.

Крикри любила наблюдать за работой фотографа, но при этом не желала, чтобы ее видели натурщицы. Она пряталась в чуланчике между ателье и кухней.

Пока ассистент, молчаливый венгр Жорж, устанавливал свет, Тео, облачившись в светло-зеленый халат, готовил модель к съемке. Он подробно обсуждал с женщиной цвет и фактуру чулок, подвязок или корсета, заставлял ее примерять туфли с каблуками разной высоты, подбирал грим, а если предполагалась съемка «ню», то тщательно обрабатывал ее тело.

Из своего укрытия Крикри с замирающим сердцем следила за тем, как он массирует женское тело, наносил крем, подкрашивал там, припудривал здесь, пока тело не начинало играть, превращаясь в настоящее произведение искусства, прекрасное и лакомое. Крикри хотелось схватить их всех, утащить в какой-нибудь свой тайничок, задушить, спрятать.

Работая с женскими телами, Тео не позволял себе никаких вольностей, никаких слюней. Лицо его сохраняло сосредоточенное выражение, даже когда женщины, впадавшие от его манипуляций в нешуточное возбуждение, начинали учащенно дышать и постанывать. Иногда он отступал на шаг-другой, чтобы оценить работу, и лицо его со сдвинутыми к переносью белесыми бровями, перебитым боксерским носом и выпяченной нижней губой каза-

лось почти суровым. Женские тела были для него материалом, и Тео вождедел к ним не больше, чем скульптор — к мрамору или сырой глине (впрочем, может быть, нет ничего глубже, темнее и разрушительнее, чем такое неявное вождеделение).

Бедняжка Крикри млела от жары и духоты в тесном чулане. Когда же натурщица занимала место на египетской кушетке или у декоративной колонны, хромоножка начинала сопеть и чесаться, оставляя глубокие царапины на своих бедрах и грудях. Если бы Тео внезапно открыл дверь чулана, он увидел бы потную, красную, растрепанную Крикри с текущими из носа соплями, вывалившейся из кофты грудью и задранной до пояса юбкой. Но Тео никогда не открывал дверь, он спокойно мирился с прихотями Крикри, которая, однако, считала его спокойствие равнодушием.

Она любила разглядывать фотографии голых женщин — много сдобы, много кружев — и голова у нее кружилась от счастья, а на глаза наворачивались слезы. Эти женщины, представавшие перед ней во всей своей вызывающе непристойной нагоде, нагло ухмылялись, дерзко глядя в объектив, и была в них какая-то высшая красота и высшая правда, красота и правда, которые, если воспользоваться выражением Апостола, были превыше всякого ума. Потому что фильдеперсовы чулки ведь и впрямь превыше всякого ума.

Она раздевалась, разглядывала себя в зеркале и постепенно убеждалась в том, что грудь у нее не хуже, чем вот у этой брюнетки, а бедра даже получше, чем у той блондинки.

Она надевала чулки, вставала перед зеркалом подбоченясь и с интересом разглядывала себя, от напряжения приоткрыв рот и забывая шмыгать носом. Оставалось только нагло улыбнуться своему отражению в зеркале, но тут ее охватывал страх, и она гасила свет.

Когда же Тео однажды предложил ей сфотографироваться вот так, голышом, в одних фильдеперсовых чулках, она вспыхнула и закричала:

— Я не шлюха! Да, я калека, но я не шлюха! Ты предлагаешь мне это только потому, что я калека! Ты никогда меня не любил! Тебе нужна только вся эта грязь, грязь! Ты дышишь этой грязью, ешь ее, наслаждаешься ею, ты сам — грязь! Но не смей смешивать с грязью меня! И перестань, перестань улыбаться! Я тебе не дура!

Тео покачал головой. Ох уж эта загадочная французская душа!..

10

Вернувшись домой, Федор Иванович вбил в стену крюк и повесил на него клетку с птицей. Поднялся к себе. Квартира была небольшой: гостиная, маленькая столовая и спальня. Он снял пальто и шляпу, положил на каминную полку коробочку с овечьим камнем, открыл шкаф и обнаружил, что вещи Крикри пропали. Ни пальто, ни шуб, ни платьев, вообще никакой ее одежды. Обувь тоже исчезла. И белье.

Федор Иванович проверил несколько ее тайничков — они были пусты. Налил себе коньяку, выпил и закурил.

Если это не кража, значит, Крикри сбежала, прихватив с собой вещи, которые он безотказно ей покупал. Тео заглянул в ларчик, в котором хранились ее драгоценности и его военные награды, но ларчик был пуст. Она забрала даже его награды — французский Военный крест с бронзовой пальмой, Военный крест с серебряной звездой и два русских Креста святого Георгия.

Тео не был сентиментальным человеком. Но этими военными наградами он дорожил. Этими четырьмя крестами, французскими и русскими, а еще адриановской каской с позолоченной кокардой в виде двуглавого орла, хранившей следы пуль и осколков. Каска состояла из трех деталей — штампованного колпака с вентиляционным отверстием, которое закрывалось прикрепленным к колпаку гребнем, и небольших стальных полей, крепившихся к

колпаку. На полях изнутри располагались два проволочных кольца для крепления подбородного ремня. Подшлемник был сделан из кожи и войлока с прокладкой из гофрированной жести. Каска была изготовлена из слишком тонкого металла и плохо защищала от хорошего сабельного удара или прямого попадания пули. Федор Иванович хранил ее в большой коробке. Он никогда не доставал каску из коробки, даже не чистил ее — просто хранил, как хранил эти кресты, два французских и два русских. И вот кресты пропали.

Он открыл нижнее отделение секретера, где хранилась коробка с каской, — там ничего не было. Значит, исчезла и каска. Значит, Крикри забрала свою одежду, обувь, свои драгоценности, а вдобавок прихватила его кресты и даже адриановскую каску с золотым орлом. От этой каски не было никакого проку, но Федор Иванович не хотел с нею расставаться. Не хотел — и все тут.

Он поднялся на третий этаж и постучал. Из-за двери донесся недовольный голос мадам Танги:

— Это вы, мсье Тео?

— Простите, мадам, вы не знаете, где Крикри?

— Крикри? — В голосе хозяйки прозвучало неискреннее удивление. — Откуда же мне знать, мсье?

— Она ничего вам не говорила?

— Мне? А что она могла мне сказать?

— Извините, мадам.

На лестнице ему встретилась малышка Лу.

— Она у мясника, — шепотом сказала она, не глядя на Тео. — Я видела, как он помогал ей нести вещи. Шесть чемоданов, мсье. Он дважды возвращался за вещами, а она пряталась в кафе.

— Пряталась?

— Пряталась, мсье, — твердо повторила Лу, на этот раз смело посмотрев ему в глаза. — Как воровка. Как распоследняя тварь.

— Спасибо, Лу.

Он надел пальто, сунул в карман револьвер — час был поздний — и вышел на улицу.

На улице не было ни души. Горели редкие синюшные фонари. Со стороны площади Абесс доносился скрежет каких-то механизмов: там строилась станция метро, о которой много писали в газетах. Где-то вдали лаяли собаки. В те годы жители Холма держали около шести тысяч собак — Монмартр все еще считался древней, где жить было небезопасно.

Тео пришлось долго стучать, прежде чем наверху отворилось маленькое окно и испуганный голос мясника спросил, что ему нужно.

— Я хочу поговорить с Крикри.

— Я собирался спать...

— Мне нужны не вы, мсье, а Крикри.

Ему пришлось подождать, пока мясник — Тео вспомнил, что его звали Полем, — открыл дверь. Поль был явно смущен и растерян, хотя и пытался выглядеть спокойным. Увалень. Тюфяк. Подкаблучник. Брибри. Он молча проводил Тео в гостиную, где их ждала Крикри, одетая вполне по-домашнему, в халате с открытой грудью, но, черт возьми, в шляпке. Она сидела на стуле прямо, со вздернутым подбородком. Лицо ее было скрыто вуалью.

— Не хотите ли рюмочку ликера? — смущенно спросил мясник.

— Благодарю, — отказался Тео. — Крикри, верни кресты и каску.

— Каску? — Мясник с удивлением посмотрел на Крикри.

— Я не знаю ни про какие ваши каски, — надменно проговорила она из-под вуали. — Ни про какие кресты.

— Боже мой, та biche, какая каска? — спросил мясник.

— Моя каска, — сказал Тео. — С орлом. И четыре креста. С бронзовой пальмой, с серебряной звездой и еще два Георгия. Это военные награды. Они дороги мне, Крикри.

— Мы не брали у вас никаких крестов, — проговорила Крикри горловым голосом. — Нам ничего чужого не надо.

— Я не уйду, пока не получу назад своих вещей. — Тео сел на стул, положил на стол шляпу. — Четыре креста и каска, вот и все, что мне нужно.

Крикри издала звук, похожий на рычание.

— Ты хочешь сказать, что я воровка?

— Нет, — сказал Тео. — Я этого не говорил. Просто отдай мои вещи, и дело с концом. Речь идет всего-навсего о вещах. Вещи, Крикри, мои вещи.

— Ты хочешь сказать, что я воровка. — Она подняла вуаль. Ее полная белая шея пульсировала, как жабий живот, а лицо покрылось красными пятнышками. — Ты сумасшедший. Я читала про тебя в газетах. Ты сошел с ума прямо в зале кинотеатра. Посмотрел фильм и тронулся умом. Ты иностранец и сумасшедший. Ты обвиняешь меня в воровстве... — Она с трудом перевела дух. — Уходи, Тео. Если ты не уйдешь, я сообщу полиции о твоих темных делишках. Ты знаешь, о чем я говорю: о фотографиях. О тех самых фотографиях.

Мясник переводил взгляд с Крикри на Тео: он ничего не понимал.

— Крикри, — сказал Тео, — я пришел по-хорошему. Ты забрала шубы, пальто, плаття, жемчуг — все, что я тебе подарил. Я не возражаю. Туфли, шубы, жемчуг, кольцо с бриллиантом... Что ж, что случилось, то случилось. — Он помолчал. — Отдай каску и кресты, больше мне ничего не нужно. Крест с бронзовой пальмой, крест с серебряной звездой и два Георгиевских. Пожалуйста, Крикри.

— Ты назвал меня воровкой, — сказала Крикри. — Уходи, не то я пойду в полицию, и тогда тебе не поздоровится. Тебе и твоим друзьям. Ты считал меня дурочкой, а я не дурочка, нет, я хорошо запомнила одного твоего друга, итальянца, который живет на площади Мобер. Я помню его имя — Домани...

— Крикри, зря ты это затеяла, детка, — проговорил Тео. — Я ничего не боюсь. Но друзей моих ты не трогай. Не надо. Поручик Домани — мой друг. Ты не имеешь права причинять ему зло. Он несчастный человек, но он был отважным офицером, он за-слонил меня от вражеской пули, он...

Крикри нервно рассмеялась.

— Послушайте, что он тут говорит! От пули! Я сейчас расплачусь! Да ты просто полоумный, Тео! В газетах писали, что в полицейском участке с тобой случился припадок. Ты упал и обоссрался! Герой! Упал и обоссрался! Тебя нужно держать на цепи! Только посмей еще раз назвать меня воровкой! Только посмей! Ты слышал, Поль? Он назвал меня воровкой, этот сумасшедший иностранец!..

— Боже мой, Крикри... — Мясник развел руками: он все еще не понимал, что к чему в этой истории. — Крикри...

Она презрительно скривилась. Мясник совсем смутился и сник.

Тео налил себе ликера и выпил.

— Неужели ты не понимаешь? — Он провел ладонью по своему седому ежику на круглой голове. — Как ты безжалостна, Крикри... Мне ведь нужны только кресты да каска, только и всего. Не вынуждай меня...

Он вынул из кармана револьвер и положил его на стол.

Мясник побледнел и зажмурился.

Крикри смотрела на Тео широко открытыми выпученными глазами, чуть приоткрыв рот. Ее жабье горло запульсировало еще сильнее.

— Принеси мне кресты и каску, и я тотчас уйду. Пожалуйста. — Тео сдвинул брови. — Ну же!

Крикри вздрогнула.

— Там, — хрипло сказала она, кивая на дверь, — все там, в комнате... в чемоданах...

— Я подожду, — сказал Тео.

Крикри бросилась в комнату, закрыла за собой дверь. Было слышно, как в замке дважды повернулся ключ.

Тео посмотрел на мясника.

— Она заперлась. — Поль развел руками. — Поди пойми этих женщин...

— Крикри! — Тео повысил голос. — Ты зря считаешь, что сидеть за этой дверью! Здесь твой дружок! Ты его любишь, Крикри?

— Но мсье! — Мясник опустился на стул. — Боже правый, я-то тут при чем?

— Ты слышала? — Из-за двери не донеслось ни звука. — Крикри!

Мясник закрыл глаза. Губы его шевелились, словно он шептал молитву.

Тео вздохнул.

— Вы верите в Бога, Поль? — вдруг спросил он.

Мясник испуганно кивнул.

— Я верю в Бога, — продолжал Тео. — В одной газете про меня написали, что во мне очнулся Бог. Вы это понимаете? Очнулся Бог... Как это может быть? Будто Он спал во мне, словно нерадивый сторож... Я этого не понимаю. Но мне не по себе. Я не знаю почему, но мне не по себе, Поль. Я не знаю, что со всем этим делать. — Он приложил руку к груди. — Тут. Понимаете? Тут стало что-то не так... Все изменилось, словно у меня там растет еще одно сердце...

— Сердце?

— Оно такое огромное...

— Боже мой, я знаю хорошего врача, — сказал мясник, у которого дрожали губы, — это очень хороший врач, мсье...

Тео покачал головой.

— Выходит, в каждом человеке дремлет Бог. Я этого не понимаю, но сегодня я убил своего лучшего друга, Ивана Яковлевича

Домани. В нем тоже жил Бог, как и во мне, и я его любил. И я же его убил. Значит ли это, что я убил Бога? Разве это возможно? Не понимаю... — Он вздохнул. — Все так запутано...

— Боже мой, зачем вы мне это рассказываете? — Мясник заплакал. — Ведь вы меня не убьете, мсье? Мсье! — Он по-бабьи всплеснул руками. — Крикри! Он же меня убьет!

— Поль, не говорите глупостей! — Тео поморщился. — Какая нужда мне вас убивать...

— Так всегда говорят, когда хотят убить. А еще говорят: не бойся, малыш, это не больно... — Мясник всхлипнул. — Я читал в одной книге...

Тео вздохнул.

В этот миг дверь распахнулась, на пороге возникла Крикри с огромным револьвером в руке. Тео и мясник вскочили. Крикри вскинула револьвер, целя в Тео, и, вытаращившись и вся искривившись, словно от омерзения, нажала спусковой крючок. Тео выстрелил наугад, инстинктивно, выстрелы слились в один, порохомым дымом заволокло гостиную.

В наступившей тишине вдруг странно зашипели и начали бить часы.

Тео поднял руки и осмотрел себя, перевел взгляд на Крикри — она замерла на полу в луже крови, халат разошелся, открыв нагое тело, потом обернулся к мяснику — он лежал навзничь. Крикри попала любовнику в левый глаз, а Тео поразил ее в сердце.

— Вот черт. — Тео покачал головой. — Как на войне.

Он сунул револьвер в карман, вошел в соседнюю комнату, включил свет. Вот они, шесть чемоданов, еще не разобранные, стоят в углу рядышком. Ему понадобилось несколько минут, чтобы распотрошить чемоданы, найти кресты и каску. Он взял только кресты и каску.

— Вещи, — пробормотал он, — всего-навсего вещи...

Пороховой дым в гостиной рассеялся.

Тео остановился у стола, не сводя взгляда с мертвой Крикри. Ее

тело всегда было таким желанным... Он опустился на колени рядом с Крикри, благоговейно поцеловал ее в лобок, пахнувший лавандой.

С каской под мышкой он вышел из дома мясника. Только свернув за угол, он вдруг вспомнил, что оставил свою шляпу на столе в гостиной, но возвращаться не стал. Нахлобучил на голову адриановскую каску и зашагал домой.

11

Он проголодался. В кладовке нашелся окорок, сыр и хлеб. Федор Иванович зажег в кухне свечу, налил в глиняную кружку сидра и принялся за еду. Пальто он снимать не стал, а адриановскую каску положил на соседний стул.

Он не держал зла на Крикри. У нее был очень непростой характер, но все же девушка доставила Федору Ивановичу немало сладких минут. Ему было приятно покупать ей красивую одежду и дарить безделушки, а она обожала командовать модистками и гордо восседать рядом с Тео в автомобиле, когда они проезжали по бульвару Мазарини или отправлялись на загородную прогулку. Ей нравились ночные увеселительные заведения, цыганские скрипки, черная икра, блеск золота, жар горностаевого меха и запах мужского пота. В постели она была довольно неуклюжей, сильно воняла и скрипела зубами так, словно рот у нее был полон битого стекла, но любовью занималась беззаветно, до полного самозабвения. Она никогда не раздевалась при зажженной лампе и редко позволяла Тео любоваться ее нагим телом, но он не сердился: у нее было трудное детство...

Федор Иванович жевал мясо, запивая его сладким сидром, и все еще думал о бедняжке Крикри. Нет, он не винил ее в измене. Крикри прожила с ним почти пять лет, стала почти что настоящей дамой и почти привыкла чистить зубы. Когда мадам Танги заводила разговор о семье и детях, взгляд Крикри становился отсутствующим, как будто мечтательным. Однако стоило Тео намекнуть,

что неплохо бы завести малыша, как она впадала в ярость, начала кричать, плакать и обвинять Тео в том, что он ее не любит, раз готов смириться с тем, что ее обезобразят роды и она станет корова коровой.

У Тео были деньги, и неплохие, а девушкам нравятся щедрые мужчины со средствами. Но, видимо, дело было не только в деньгах. Его положение было шатким. Он был иностранцем, беженцем, чужаком, а вдобавок — порнографом, то есть человеком с темным настоящим и сомнительным будущим. У него еще ни разу не возникало трений с полицией, но, конечно же, никто не мог поручиться за то, что этого никогда не случится: его бизнес был подпольным, тайным, а ведь известно, что все тайное рано или поздно становится явным. Мясник же Поль, каким бы увальнем и недотепой его ни считали, был парнем что надо: солидная профессия, обеспеченное будущее и никаких проблем с полицией.

Женщины чуют бездомных мужчин и втайне боятся их, а Тео был поражен бездомностью, как другие бывают поражены раком печени, блядством или глупостью.

Тео вдруг поднял голову и перестал жевать.

Вот уже, наверное, полчаса соседская собака то и дело принималась рычать и даже лаять. Вероятно, чуяла крысу. А может, человека?

Он глотнул сидра, надел каску и вышел в сад.

Мадам Танги именовала свой дом усадьбой, а десяток полумертвых яблонь — садом. Во дворе стоял автомобиль Тео. Это был четырехместный Renault NN с довольно мощным двигателем, тормозами на все колеса и кожаным салоном. Машина стояла у решетки, отделявшей дом мадам Танги от соседей.

Завидев Тео, соседский пес встал лапами на решетку и залаял на машину.

Тео не боялся воров, но на всякий случай проверил, сколько патронов осталось в пистолете. Три. Это был восьмимиллиметровый револьвер Лебея с барабаном на шесть патронов. Как и рус-

ский наган, он обладал слабой останавливающей силой, но зато к нему подходили патроны от лебелевской винтовки (вдобавок стволы бракованных винтовок шли на изготовление револьверных стволов, что позволяло экономить немалые средства) — за это его и любили во французской армии.

Он подошел к машине и рывком открыл дверцу.

В салоне пахло телячьей кожей, бензином, вест-индским табаком и невытой одноногой девчонкой.

Она спала на заднем сиденье, скорчившись и натянув на голову пальто. На полу лежали ее костыли и мешок. Это была та самая девчонка, которую он встретил в подземном переходе у Триумфальной арки. На груди у нее тогда висела табличка с надписью «Купи меня, не то я тебе приснюсь». Девчонка источала такую злобу, что ею можно было обогреть весь Париж. Что побудило тогда Тео подойти и заговорить с нею? Почему он позвал ее с собой? Он уже не помнил. Это было какое-то безотчетное движение души. Безотчетное и безотлагательное.

Он тронул ее за плечо.

Ее реакция была молниеносной: она села, откинулась и, выставив перед собой нож-выкидушку, злобно уставилась на Тео.

— Привет, — сказал он, убирая револьвер в карман. — Меня зовут Тео. Помнишь? Фотограф и педофил.

— Урод! — Девочка усмехнулась. — Надо же!

— Как ты сюда забралась?

Она спрятала нож, пожала плечами.

— Замерзнешь, — сказал Тео. — Пойдем в дом. — Протянул руку. — Тебе помочь?

— Справлюсь, — хрипло ответила она.

Он кивнул.

Поколебавшись, она кое-как выбралась из машины, вытащила мешок и костыли. Пожав плечами, Тео двинулся к дому. Он ни разу не обернулся, пока шел к черному входу. Он слышал, как она стучит костылями по булыжнику.

Девчонка набросилась на еду. Шмыгая носом, она рвала зубами мясо, запихивала в рот куски сыра и хлеба, мычала и рыгала. Сидр капал у нее с подбородка. На салфетку, которую выложил на стол Тео, она даже не взглянула — вытирала рот рукавом грязного пальто. Она была похожа на сорванца — может быть, из-за короткой стрижки.

Тео налил себе кальвадоса, закурил и откинулся на спинку стула.

— Что это за шляпа на тебе такая? — спросила наконец девчонка. — Она железная?

— Да. Это каска.

— Каска?

— Во время войны она защищала голову от пуль и осколков.

— А.

— Как тебя зовут?

— Мадо.

— Мадлен?

— Мадо! — Она вытерла салфеткой подбородок, вытащила из рукава сигарету и закурила. — Это твой дом?

— Я здесь живу. А дом принадлежит мадам Танги. Она сейчас спит.

— Эй, чему ты все время улыбаешься? — Она выпустила дым ему в лицо. — Ты похож на придурка.

— Это следствие контузии. Рядом со мной разорвалась бомба, и с той поры я всегда улыбаюсь. Ничего не попишешь, контузия. Врачи сказали, что это не опасно. Это неприятно, но я привык. Хочешь умыться? Я согрею воды.

Немного помедлив, она кивнула.

Пока Мадо плескалась в ванне, Федор Иванович накормил птицу просом, а потом включил свет в лаборатории и принялся перебирать готовые отпечатки.

Раньше, глядя на обнаженные женские тела, он испытывал удовольствие. Это было не вожделение, а именно что удовольствие. Ему нравилось работать с женщинами. Среди натурщиц у не-

го не было любимиц — для каждой съемки он искал новых женщин, новые тела, новую красоту. Федор Иванович не любил повторяться. В каком-то смысле он был похож на Дон Жуана: священному качеству он предпочитал священное количество. Он жил, двигаясь от съемки к съемке, от женщины к женщине, и казалось, что это путешествие будет бесконечным. Но сейчас, перебирая снимки, он не испытывал ни удовольствия от хорошо выполненной работы, ни интереса к новым встречам.

Он никогда не залезал женщинам в душу, да они чаще всего этого не ждали и не желали. Он помнил тела, но не узнавал лица. Встреть он их на улице, наверное, и не узнал бы. У одной были красивые бедра, у другой — замечательная задница или грудь, у третьей — изгиб стана. Язык тела был ему внятен, но вот лица этих женщин — они ничего ему не говорили. Раньше он не придавал этому значения, а вот сейчас это почему-то расстроило его.

Он включил вытяжку и стал жечь фотографии в глубокой раковине, где обычно промывал снимки после проявки. Картон горел плохо, но Федор Иванович был терпелив. Он ворошил костерок железными щипцами, подбрасывая в огонь новые и новые карточки. Пленительные плечи, роскошные груди, высокие бедра — все это великолепие женской плоти, запечатленное с умом и любовью, нехотя превращалось в пепел...

Хлопнула дверь.

Федор Иванович выглянул из лаборатории.

Забравшись с ногами в глубокое кресло, Мадо разглядывала птицу. Она смыла грязь с лица и теперь выглядела скорее девочкой, чем мальчиком.

— Это твой скворец? — спросила она.

— Скворец?

— Ну да, это скворец. Когда я жила в приюте, у нас там был скворец, который умел говорить. Правда, по-немецки. Никто не понимал, что он говорит, но у него это здорово получалось. Гутен морген! — каркнула она. — Мы прозвали его Кайзером.

— Почему ты сбежала из приюта?

— Я просто ушла. — Она пожала острыми плечами.

Тео поднял брови.

— Они там приставали ко мне. Оба, директор и его сынок. Мсье Морель и Клод, его сын. Лапали, говорили гадости... У директора не было жены, и он приставал даже к мальчишкам. А Клод... Клод погиб, и они сказали, что виновата я...

— Ну да.

— Клод называл меня шлюхой, а сам был слизняком. Мокрогубым слизняком. Они не только ко мне приставали, к другим девочкам тоже. И мсье Морель был хорош...

— Ты про это уже говорила.

— А потом Клод упал в канал и утонул. — Она помолчала. — Я видела, как он тонул. Но я не могла ему помочь. — Она кивнула на костыли. — Они сказали, что это я его толкнула в воду. Больно мне надо его толкать. Он был психом, вот и все.

— Как ты потеряла ногу?

— Осенью мы помогали крестьянам убирать картофель, и я наступила на бомбу...

— Наверное, на мину.

— Ну на мину.

— И ты ушла...

— Они сказали, что это я толкнула Клода в канал, а он просто не умел плавать. Остаться там не было никакого смысла.

— Смысл. — Тео покачал головой. — А какой же смысл в твоей этой жизни? Здесь, в Париже?

— А я и не собираюсь жить в Париже. Мне нужно в Лурд.

— В Лурд?

— Я тебе кое-что покажу. — Мадо сунула руку в мешок, лежавший возле кресла, и извлекла из него небольшой сверток. — В Лурде живет один человек... его зовут братом Жеромом... Говорят, он творит чудеса. Про это знают все. Про него писали в газетах. Я читала в одной газете, что он превратил волка в собаку...

— Зачем? — удивился Тео.

— Не знаю. Но вот ты — ты же не умеешь превращать волков в собак? А он умеет. Он много чего умеет. — Она вытряхнула из свертка детский ботинок. — Я написала ему письмо... рассказала о своей ноге... И он мне ответил. Он написал, что я должна привезти ему свой ботинок, тот самый, который носила, когда нога была еще цела. И он по этому ботинку сделает мне новую ногу...

— Вот как... — Тео взял в руки ботинок. — Но он же на правую ногу, а у тебя нет левой!

— Левый не сохранился. Его разорвало бомбой.

— Миной.

— Миной. А этот я сберегла. Мне все равно: пусть он сделает мне еще одну правую ногу, лишь бы это была настоящая нога! Не протез, а нога. Кто разберет, какая у меня нога, когда я обута? Никто не разберет.

— И для этого тебе и нужны сто франков?

— Брат Жером написал, что без ста франков он за это дело не возьмется. Это ведь не булки печь, это нога. Это чудо. Разве жалко за чудо ста франков? Если бы он сказал — тысячу, я собрала бы тысячу. Это же чудо, понимаешь? Булку испечь и то трудно, а тут нога... Я уже собрала восемь франков и десять сантимов. Я упрямая, я своего добьюсь. Мне бы только добраться до Лурда... Это же святое место, там было явление Богородицы...

Тео молчал, о чем-то раздумывая.

— Сколько тебе лет? — наконец спросил он.

— Скоро будет тринадцать. После Рождества.

— Лурд — это ведь далеко. Где-то на юге, на границе с Испанией, кажется.

— Я видела на почте карту. Это департамент Верхние Пиренеи.

— Далеко.

— Ничего, соберу деньги и поеду. Как-нибудь доберусь. Мне бы только добраться до брата Жерома. Но я доберусь, я упрямая. Буду есть один хлеб, но доберусь. Брат Жером творит чудеса, это

все знают. Если он даже волка превратил в собаку, что ему нога? Да для него это раз плюнуть! Правая, левая — мне все равно, лишь бы настоящая.

Она завернула ботиночек в тряпку и спрятала в мешок.

— Хорошо, — сказал Федор Иванович. — Я отвезу тебя в Лурд. У меня есть машина. Поедем вместе. — Он посмотрел на часы. — У нас есть несколько часов, чтобы поспать.

— Ты отвезешь меня в Лурд?

— Тебе же нужно в Лурд? Мне тоже.

— Тебе-то зачем?

— Хочу познакомиться с братом Жеромом. Безотлагательно.

Они поднялись наверх, в квартиру Тео.

Девочка забралась под одеяло. Тео погасил свет.

— Не стесняйся, — сказала Мадо. — Не смотри, что я худая. Я целый год жила с одним мужчиной. Его звали Пабло, это испанское имя, он был испанцем. — Пауза. — Он умер. — Снова пауза. — Я знаю мужчин. Я знаю, что им нужно.

Что-то в ее голосе насторожило Тео. Он включил свет и увидел, что Мадо улыбается. Он еще не видел ее улыбающейся. Улыбка придавала ее лицу чуть ли не зловещее выражение. Она закрыла глаза, откинула одеяло и развела ноги. Как ни странно, у нее было манкое тело. Чистое, тонкое и манкое.

Тео погасил свет и положил костыли между собой и Мадо.

— Спокойной ночи, Мадо, — сказал он. — Нам рано вставать.

— Ты настоящий урод, — пробормотала она. — Настоящий...

Обычно малышка Лу приходила на улицу Коленкур очень рано. Было еще темно, когда она растапливала плиту на кухне, а потом принималась за уборку. Она наводила по-

рядок внизу, в ателье, а уж потом принималась за уборку квартиры мсье Завалишина и логова мадам Танги.

Малышка Лу была полузабитой деревенской девчонкой, но она все подмечала. Она все видела и помалкивала. Она давно поняла, чем этот фотограф занимается по вечерам, но Лу умела держать язык за зубами. И потом, по правде сказать, этот громила Тео ей нравился. Он был таким представительным, таким уверенным в себе господином, да вдобавок щедрым господином.

Однажды ей удалось стащить из его лаборатории несколько скромных фотографий. Эти снимки ошеломили ее, довели до слез: малышка Лу вдруг поняла, что такое подлинная красота и что такое настоящая жизнь.

Да, малышка Лу готова была душу черту прозакладывать, чтобы оказаться среди натурщиц Тео. Она видела, что он делает с этими женщинами, как с помощью кисточек и красок превращает их в неземных красавиц. Наверняка ему удалось бы проделать это и с малышкой Лу. При помощи кисточек и красок. Он сделал бы ее выше, поуменьшил грудь и удлинил шею. А уж малышка Лу его не подвела бы. Она бы так сверкнула бы глазами, так изогнула бы стан, так томно, так маняще, так по-ведьминому улыбнулась бы в объектив, что все эти мужчины мигом оказались бы у ее толстеньких кривых ног.

Что ж, малышка Лу умеет помалкивать и ждать, и когда-нибудь она своего дождется. Когда-нибудь Тео обратит на нее внимание. Рано или поздно он поймет, как ему не повезло с этой кривлякой и истеричкой Крикри. Хромая порочная гадина, воровка и извращенка. Да и мадам Танги не лучше. Но ничего, малышка Лу умеет ждать, терпеть и ждать. А что Тео иностранец, так малышка Лу считала, что иностранцы владеют какими-то тайными знаниями, такими же загадочными, как их языки, и эти тайные знания дают им власть над людьми. Во всяком случае, власть Тео над собой малышка Лу признавала безоговорочно.

Она пришла на улицу Коленкур как раз вовремя. Из ворот дома

мадам Танги выезжал автомобиль, за рулем которого сидел Тео в адриановской каске. На нем была долгополая кожаная куртка на меху, в кармане которой лежала маленькая коробочка с белым камешком.

Тео остановил машину, вылез из кабины и протянул малышке Лу конверт.

— Что это, мсье?

— Это тебе, Лу. Прибери, пожалуйста, в лаборатории.

— Вы уезжаете, мсье?

— Мне нужно отлучиться.

Малышка Лу разглядела сидевшую в машине девчонку, закутавшуюся в меховое пальто. На заднем сиденье стояла птичья клетка.

— Когда вы вернетесь, мсье?

— У меня неотложные дела, Лу. До свиданья, малышка.

Он потрепал ее по щеке и сел за руль. Машина дернулась, взревела мотором и скрылась за поворотом.

В кухне малышка Лу открыла конверт — там были деньги. Пятьдесят франков. Пятьдесят, Боже правый. Малышка Лу никогда еще не держала в руках таких денег. Малышка Лу никогда даже не видала таких денег. Она вспотела от волнения, сунула купюры в лифчик и толкнула дверь в ателье.

Это было довольно просторное помещение с подиумом, на котором сейчас стояла египетская кушетка, обитая желтым шелком.

Малышка Лу заглянула в лабораторию. Раковина была полна пепла. Она вытащила из пепла кусочек картона. Изящная босая женская ножка — вот все, что можно было разглядеть на обгоревшем фото. Тео все сжег. Всех этих красавиц, всю эту красоту.

Малышка Лу спрятала уцелевший кусочек снимка на груди, там, где у женщин побогаче был бюстгальтер, вернулась в павильон и легла на кушетку. Когда поблизости никого не было, она позволяла себе вольности. Вокруг на штативах стояли дуговые све-

тильники. Они уставились на малышку Лу и казались уродливыми насекомыми, инопланетянами, захватившими Землю и уже добравшимися до Парижа. Но город пока не подозревал об уготованной ему участи. А они уже здесь. Они обступили малышку Лу, словно совещаясь о чем-то, но их язык был ей неведом. Добра от них не жди: малышка Лу знала о них все, она обожала комиксы о злобных пришельцах. Они вот-вот двинутся на своих суставчатых желтых ногах на улицу, спустятся с Холма и заполнят великий город, убивая направо и налево, и никому не уцелеть в этом кровавом кошмаре, ни младенцам, ни старикам, ни красивым женщинам с толстенькими кривыми ногами.

Малышка Лу очнулась, вскочила и обвела взглядом ателье. Она вдруг поняла, что Тео никогда сюда не вернется. Он бежал в страхе перед инопланетянами... или, может быть, по какой-то другой причине... Она вдруг поняла, что потеряла мечту, смысл жизни, да и сама ее жизнь оказалась под угрозой.

Она притащила из кухни огромную бутылку, разлила керосин по полу ателье, в лаборатории и на лестнице, ведущей наверх, перекрестилась, зажгла спичку, бросила, увидела, как инопланетяне подпрыгнули на своих насекомых ногах, и бросилась наутек.

Она бежала безостановочно. Она мчалась по просыпающемуся городу, не чуя под собой ног, пока не оказалась на Новом мосту.

Вот как далеко она забежала. Новый мост. Вот как.

Она оперлась руками о парапет. Плечи ее ходили ходуном. Ее трясло, голова кружилась, душа ее была пуста, хотя что-то там, в глубине души, бешено мчалось, подпрыгивало и кружилось. Ее вырвало чем-то белым, едко-кислым. Она вытерла губы рукавом и подняла голову.

Над Парижем вставало тусклое декабрьское солнце. Оно было светло-красным, и когда лучи его упали на поверхность Сены, вода превратилась в пролитую кровь.

На рассвете они миновали Орлеан. Долина Луары была подернута морозным розовым туманом. На узкой дороге, обсаженной деревьями, им встречались крестьянские повозки и изредка — автомобили.

Мадо дремала, закутавшись в меховое пальто и прижимая к себе свой мешок с сокровищами. Мешок с правым ботинком и письмом от брата Жерома. Из далекого Лурда он послал письмо этой одноногой девочке, подарив ей надежду.

А вот Федор Иванович никогда не писал писем, а получил письмо лишь однажды. Это было письмо от его матери.

Он почти ничего не знал о своих родителях. Его растила тетка, старшая сестра матери, женщина сильная, бодрая и деятельная. У нее не было своих детей, и они с мужем — у него была аптека — взяли на воспитание троих девочек из приюта. Федор был четвертым ребенком в этой семье. Он помогал дяде взвешивать и смешивать химикаты, и слова «нитрат», «хлорид» и «гашиш» с детства заняли в его лексиконе естественное место. А еще Федор помогал тетке собирать милостыню в пользу малолетних проституток и преступников, находившихся в исправительных домах. Тетка была очень религиозной женщиной.

«А ведь они тебе никогда не скажут спасибо за эти твои хлопоты, — беззлобно поддразнивал ее муж. — Благодарности ты от них не дождешься».

«Сдачи не надо, — отвечала она. — Это, друг мой, одиннадцатая заповедь Господня: сдачи не надо».

Когда Федору исполнилось четырнадцать, тетка достала из-за иконы конверт, на котором было написано некрасивым детским почерком «Моему сыну Фединьке от его несчастной матушки». Тетка сказала, что его мать оставила сына, уехав с каким-то мужчиной, и больше не подавала о себе никаких вестей. «Это письмо... — Тетка протянула ему конверт. — Это письмо она просила передать тебе, когда подрастешь». Почему она решила отдать это

письмо, когда ему исполнилось четырнадцать, а не, скажем, шестнадцать, Федор так и не понял. Может быть, только потому, что тетка серьезно заболела, врачи сказали, что долго она не протянет, и она решила рассчитаться с земными делами.

Запершись у себя в каморке, он долго разглядывал конверт, вертел его так и этак, а потом вдруг принял решение, которое удивило тетку и ее мужа. Он не стал его вскрывать. Он вложил его в том «Графа Монте-Кристо» и словно забыл о нем.

Но на самом деле он всегда помнил об этом письме. Перед сном он думал о матери. Тетка никогда не осуждала сестру. Не осуждал мать и Федор. Он видел ее на фотографии: худенькая высокая женщина с косящими глазами и безвольными пухлыми губами. Он не думал о причинах, побудивших ее бросить ребенка и уехать неведомо куда с каким-то мужчиной, — он думал лишь о том, что же такого она могла написать сыну, уезжая от него навсегда. Наверное, что-то важное. Что-то очень важное. Немногие важные слова, раскрывающие, может быть, тайну его рождения, его будущего, всей его жизни.

О чем только он не думал тогда, о чем только не мечтал, глядя на запечатанный конверт с надписью «Моему сыну Фединьке от его несчастной матушки»...

Проще всего, конечно, было бы вскрыть конверт и прочесть письмо. Проще всего, но не лучше всего. Федор и сам не знал, что заставило его принять такое странное решение. Он ждал подходящего момента, чтобы прочесть письмо, но подходящий момент наступил лишь после «потемкинских» событий, когда он увидел нагую Минну Милицкую в саду с Немченко, ее тело, напоминавшее ему почему-то освежеванную собаку, и голые ноги Немченко в каучуковых галошах.

Тогда, вернувшись домой, он собрался покончить с собой. Но прежде он решил вскрыть конверт и наконец прочитать письмо.

Запершись в своей каморке, он положил на стол заряженный револьвер, перекрестился и взрезал конверт.

В конверте оказались два листка. На одном тем же некрасивым детским почерком, что и на конверте, было написано: «Я осталась должна Киришнеру за чай и ликер. Прости меня и верни ему долг. Твоя навеки». А другой листок был счетом из магазина Киришнера: два рубля восемьдесят копеек за фунт черного байхового чая и два рубля с полтиной за бутылку зеленого шартреза. Итого — пять рублей тридцать копеек.

Больше ничего в письме не было.

Фунт чая и бутылка ликера.

«Твоя навеки».

Федор тупо смотрел на эти два листка бумаги, перевел взгляд на револьвер, лежавший на столе, и вдруг понял, что стреляться он не станет. Но и рассказывать о письме матери — тоже. Никому, никогда.

Это письмо и спустя много лет оставалось одним из самых страшных событий в его жизни. Страшнее, чем встречный ночной штыковой бой в лесу под Суассоном. Таким же, как фильм «Броненосец "Потемкин"», который перевернул его жизнь в «Казино де Гренель».

Они уже миновали Вьерзон, когда сзади вдруг что-то грохнуло и машина накренилась на левый бок.

Мадо закричала спросонья. Тео остановил машину и вышел.

— Похоже, лопнула рессора, — сообщил он, вернувшись в кабину. — Надо поискать какую-нибудь мастерскую или хотя бы кузницу. С такой рессорой до Шатору мы не дотянем, а до Лиможа и подавно.

Он осторожно тронулся. Машина пошла со скрежетом, заваливаясь на левый бок.

На дороге было пустынно.

Мадо рассеянно смотрела на бурные луга, на придорожные кусты, покрытые инеем.

Вскоре они въехали в довольно большую деревню, проползли

по узкой улочке, вымощенной крупным синим камнем, и остановились на площади у гостиницы «Три петуха». Рядом с гостиницей находился ресторан, над входом в который красовалась надпись — «У матушки Полины».

Тео спросил у хозяина гостиницы, где тут можно найти механика или хотя бы кузнеца, чтобы починить автомобиль.

Рослый пожилой мужчина в турецкой феске нажал рычажок, который торчал у него из горла, и ответил свистящим голосом:

— Я позову Жана-Клода. Это мой сын.

Жан-Клод — хмурый молодой человек с плешью и рыжими усиками — осмотрел машину и сказал, что лопнула рессора. Тео загнал автомобиль во двор, где находилась кузница. Потом он зашел на почту, купил свежие газеты, и они с Мадо отправились в ресторан.

Хозяйка ресторанички сразу прониклась симпатией к бедняжке Мадо.

— Если вы подождете, я сварю вам суп, — сказала она. — Обычно я не варю суп, но для вас, конечно, сварю. Или хотя бы бульон.

— Спасибо, мадам, не надо.

Мадо ела с аппетитом, а Тео почти не прикоснулся к еде. При хлебывая кофе, он просматривал газеты. Во всех газетах заметки о преступлениях были вынесены на первую полосу.

Первое преступление случилось на площади Мобер. Полиция сообщала о троих погибших, мужчине и двух женщинах. Мужчина был русским эмигрантом Иваном Д., беженцем, человеком без определенных занятий, а женщины — проститутками. Мужчина был убит слесарным молотком, женщину ударили чем-то по затылку, а девочку выбросили из окна. Соседи видели, как из квартиры, которую снимал Д., выходил хорошо одетый мужчина высокого роста, в руках у него была клетка с птицей. Один из свидетелей заявил, что встречал этого мужчину и раньше — он не раз приходил к Д. Свидетель слышал, как они разговаривали, ему по-

казалось, что оба говорили по-русски, хотя может статься, что и по-далматински.

Второе преступление зарегистрировано в комиссариате XVIII округа, оно случилось на Монмартре, на улице Жирардон. В своем доме был застрелен из револьвера мясник Поль Т. Пуля попала ему в глаз. В его квартире было обнаружено также тело девушки, убитой выстрелом в сердце. По словам соседей, ее звали Крикри, она проживала поблизости, на улице Коленкур, в доме мадам Танги, и была содержанкой фотографа, русского по происхождению. Судя по описанию, этот фотограф и друг господина Д. — одно лицо. Полицейский врач заявил, что мясник Поль Т. был убит из одиннадцатимиллиметрового револьвера Шамело-Дельвиня, который сжимала в руке мертвая Крикри, а вот она была сражена из другого оружия — из восьмимиллиметрового револьвера Лебеля, его полиция в доме не обнаружила.

Там же, на Холме, той же ночью произошел пожар — сгорел дом мадам Танги. Хозяйка погибла, задохнувшись в дыму. Ее обгоревшее тело обнаружили на лестнице. Внизу находилось фотоателье, принадлежавшее господину Тео Z. Его труп обнаружен не был. Нет сомнений, что это был поджог: в ателье нашли осколки бутылки из-под керосина.

Полиция предполагала, что убийство на площади Мобер и два преступления на Монмартре как-то связаны. Газеты же в один голос утверждали, что преступником является русский фотограф Тео Z. и что именно ему и принадлежит лебелевский револьвер, из которого была убита бедняжка Крикри.

«Пари матен» напечатала сенсационную статью за подписью Жака-Кристиана Оффруа. В этой статье раскрывалась тайна «довильского дела» и публиковались две фотографии убийцы — бывшего офицера Русского легиона Ивана Домани. А вот на третьей фотографии были запечатлены Домани и Тео Завалишин, закадычные друзья, которые, обнявшись, с улыбкой смот-

рели в объектив. В Тео Завалишине соседи мадам Танги без труда узнали ее постояльца-фотографа, дружка Крикри.

Автор статьи рассказывал о своей встрече в госпитале с Тео, который признался ему в убийстве лучшего друга в ночном бою под Суассоном: он заколол его штыком и бросил в лесу умирать.

«Если израненный, изуродованный Домани, вполне возможно, действовал безотчетно, будучи психически больным человеком, то Тео Завалишин, безусловно, убивал сознательно, — писал автор статьи. — По его признанию, он убивал людей еще в России. В юности, как он мне сам рассказал, он изнасиловал умственно неполноценную девочку, а когда узнал, что она беременна, хладнокровно зарезал ее, как свинью. Он и на войну пошел добровольцем, чтобы удовлетворить свою жажду убийства (психиатрам известны такие случаи, это, увы, не редкость). Вывод очевиден: он прирожденный убийца. Вовсе не исключено, что полубезумный, безвольный господин Домани убивал по приказу Завалишина, а когда Тео узнал о том, что Домани, не выдержавший мук совести, решил сдаться властям и написал о своем решении в газету, он зверски убил несчастного Домани, а потом и всех этих людей — падших и несчастных женщин Настю и Шимми, мясника Поля и свою любовницу Крикри, а чтобы замести следы, поджег дом мадам Танги. Он совершил семь убийств — мы говорим только о тех, что нам известны наверняка».

«Зверь вырвался на волю!» — таким патетическим восклицанием завершалась статья Жака-Кристиана Оффруа, который благодаря этой сенсационной публикации в одночасье стал одним из самых знаменитых скандальных журналистов Франции.

Пробежав глазами заметки о других происшествиях, Тео с бесстрастным лицом аккуратно сложил газеты и сунул в карман. Попросил у хозяйки рюмку коньяка, неторопливо выпил.

Когда они с Мадо покинули ресторан, он сказал:

— Придется переночевать здесь. Поломка оказалась серьезной. Серьезнее, чем я предполагал.

Он снял два номера, один для себя, другой для Мадо.

Наверху их встретила седая женщина в черном, с узким лицом и беспокойным взглядом.

— Кто-нибудь видел мои глаза? — спросила она. — Мои глаза, мсье. Я потеряла глаза. Боже мой, вы не видели мои глаза?

— Мадам, принесите девочке кувшин горячей воды, — попросил хозяин, а когда она ушла, сказал: — Извините, это моя жена. Наш старший сын погиб на Марне, в самом начале войны. — Он вздохнул. — Но иногда она узнает меня. Случается, что она бродит по ночам, но жильцам от этого никакого беспокойства: она снимает обувь.

— Я служил в Марокканской дивизии, — сказал Тео. — Крест с бронзовой пальмой и крест с серебряной звездой. Кажется, это было недавно.

Хозяин кивнул.

— У меня хорошее белое вино, мсье. Вам и вашей дочурке понравится в нашей деревне. Завтра у нас тут будет цирковое представление. Один из циркачей уже приехал, снял самый большой номер. Спит до обеда, а вечерами в ресторане забавляет публику. А за автомобиль не беспокойтесь: Жан-Клод хоть и не красавец, но дело свое знает, поверьте. Он был ранен в самом конце войны, но ему повезло. — Хозяин вздохнул. — Вашу птицу я накормил.

— Это скворец, — сказал Тео.

— Я знаю.

— Мы едем в Лурд.

— Вам у нас тут понравится, мсье.

Вечером «У матушки Полины» было не протолкнуться, но хозяйка нашла место для Тео и Мадо, которую называла «деточкой», и принесла им тушеного мяса, сыра и вина. Тео надел шляпу — каску он оставил в номере.

Худощавый чернокудрый красавец с ядовито-черными глазами забавлял публику, показывая карточные фокусы. Старики сидели за длинными столами, расстегнув брюки и покуривая свои трубки, а молодежь в кепках толпилась вокруг фокусника.

— Он циркач, — сказала Мадо. — Его зовут Тито. Он живет в «Трех петухах».

Тео кивнул. Он поел, выпил вина и закурил сигару.

— Тео, у тебя есть жена? — спросила вдруг Мадо.

— Была. Она умерла от испанки.

— Красивая?

— Кто?

— Твоя жена — она была красивая? Как ее звали?

— Мари. Просто Мари. Она была... — Он пошевелил пальцами, подбирая подходящее слово. — Она была маленькая. Как ты.

— Она была ребенком?

— Нет, она выступала в цирке, в районе парка Бют-Шомон.

— Она была лилипуткой! — догадалась Мадо. — Господи, лилипутка! Ну и ну!

— Она была хорошей женой. — Тео пожал плечами. — Мы неплохо ладили.

— Господи, ты был женат на лилипутке! — Мадо откинулась на спинку стула. — Ну и ну. У вас были дети?

— Нет. Мы не успели — Мари умерла.

— Ну и ну. Лилипутка. Подумать только! Как же ты с ней... как же вы... Она любила тебя?

— Любила?

— Ну да, вы любили друг друга?

— Не знаю, — признался Тео. — Мы никогда не говорили об этом. Мы неплохо ладили, а потом она умерла. Тогда много людей умирало от испанки, их хоронили в братских могилах.

— Как же так? — изумилась Мадо. — Вы ведь были мужем и женой! Неужели ты ни разу не говорил ей, что любишь ее?

— Я никому этого не говорил.

— А тебе?

— Мне — что?

— Тебе кто-нибудь говорил: «Я люблю тебя» и все такое?

— Видишь ли, Мадо, моя тетушка в таких случаях говорила: сдачи не надо.

— Как это — сдачи не надо? Это еще что за чушь?

Тео не успел ответить. В зале вдруг зашумели, закричали, кто-то свистнул, люди расступились, освобождая место для Тито.

Матушка Полина принесла петуха и поставила его на стол.

— Эй, потише! Испугаете птицу!

Петух беспокойно и грозно поглядывал по сторонам.

Улыбающийся Тито вышел на середину зала и жестом попросил тишины.

— Господа, сейчас вы увидите, что такое гипноз. Считается, что гипнозу поддаются только люди, но это не так. Сейчас вы увидите, как я загипнотизирую этого славного петушка. Прошу сохранять спокойствие, чтобы не спугнуть птицу. Тишина! Полная тишина! Мадам Полина, можно попросить у вас салфетку?

Тетушка Полина протянула ему большую белоснежную салфетку.

Тито обвел взглядом притихшую толпу, приложил палец к губам и осторожно набросил салфетку на петушка.

Выждал.

Птица стояла не шелохнувшись.

Тито свел черные брови на переносье, прикрыл глаза, вытянул руку перед собой — его ладонь замерла над головой петушка — и стал приподниматься на цыпочках.

Напряжение в зале нарастало. Слышно было только, как по-свистывает своим железным горлом хозяин гостиницы.

Матушка Полина перевела взгляд с Тито на петушка и прижала к губам полотенце.

Петушок вдруг упал.

Тито легким движением поднял салфетку. Птица лежала на боку с закрытыми глазами.

— Мадам и мсье! — громким шепотом возгласил фокусник. — Наш славный дружок уснул. И пока я не прикажу ему, он не проснется. — Он взял петушка за ноги и несильно ударил головой о край стола. Люди разом выдохнули. — Нет, нет, не беспокойтесь! Все в порядке, господа! Прошу внимания!

Фокусник снова набросил на петушка салфетку, склонился над столом. Улыбка на его лице могла показаться зловещей. Тито сделал несколько пассов руками над столом, сдернул салфетку и закричал во весь голос:

— Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Эй, дружок, пора вставать! Курочки заждались своего дружка! Ку-ка-ре-ку!

Петушок открыл глаза и попытался встать, но с первой попытки это у него не получилось. Получилось с третьей. Он стоял на столе, изумленно глядя на столпившихся вокруг людей.

Матушка Полина схватила его и прижала к груди.

— Ах, мой дурачок!

Люди с облегчением засмеялись, зааплодировали, зашумели.

Тито раскланивался, плавно взмахивая длинными красивыми руками.

Мадо не сводила с него взгляда. Тито ей подмигнул.

— Мадам и мсье! — закричал Тито. — Может, кто-нибудь хочет попробовать? Господа, способность к гипнозу — это, конечно, дар Божий, но встречается он не так уж и редко, уверяю вас. Прошу! Кто хочет испытать свои силы?

— Можно мне? — Это был Жан-Клод, сын хозяина гостиницы. — Я хочу попробовать!

Тито с поклоном протянул ему салфетку.

Матушка Полина вернула петушка на стол.

Люди затихли.

Но сколько ни старался плешивый Жан-Клод, у него ничего не

получилось, а когда с петушка сняли салфетку, обнаружилось, что он уронил на столешницу кусочек помета.

В зале дружно захохотали.

— Вон как ты его напугал, Жан-Клод! Ай да Жан-Клод!

— Нельзя ли и мне попробовать? — Тео снял шляпу и помахал фокуснику рукой. — Мсье! Я тоже хочу попробовать!

Тито жестом пригласил его к столу.

— Шаг назад! — негромко приказал Тео, не глядя на людей.

Все расступились.

Тео приблизился к столу.

Накрытый салфеткой петушок стоял не шелохнувшись.

Тео простер руку с растопыренными пальцами над птицей. Лицо его окаменело, он даже перестал улыбаться, взгляд стал сосредоточенным.

Матушка Полина, приоткрыв рот, неотрывно следила за его ладонью.

Тео закрыл глаза, сжал губы, свел брови на переносье и начал медленно приподниматься на цыпочках, держа руку, однако, на том же уровне. Взгляды всех, кто был в ресторане, сошлись на его пальцах. Лицо его потемнело и набрякло, на лбу и шее вздулись вены, из носа вытекла струйка крови.

Жан-Клод нервно облизнулся и звучно сглотнул.

Тео внезапно открыл глаза и устремил взгляд на кончики пальцев.

Мадам Полина вцепилась руками в стул, по ногам у нее вдруг потекло.

На салфетке расплылось кровавое пятно.

Петушок покачнулся и вяло упал на бок.

Хозяин гостиницы шумно, со свистом выдохнул.

Матушка Полина без сил опустилась на пол.

— Господи Иисусе, — пролепетала она, глядя на Тео расширенными от ужаса глазами, — Господи Иисусе, Матерь Божья...

— Вы тоже фокусник, мсье? — сдавленным голосом спросил

плешивый Жан-Клод, которого все еще трясло от только что пережитого ужаса.

— Я не фокусник, — хрипло сказал Тео, вытирая рукой кровь с подбородка. — Позвольте пройти, господа.

Он быстро прошел через толпу, не глядя на людей и даже не вспомнив ни о Мадо, ни о шляпе, оставленной на столе.

Спустя час Мадо постучала в дверь номера, который занимал Тео.

— Тео!

— Да?

— Это я, открой.

— Мадо, мне надо побыть одному.

— Я принесла твою шляпу.

— Я не могу выйти, Мадо. Мне надо побыть одному.

Мадо надела шляпу и двинулась по коридору, громко стуча костылями. Остановилась у двери Тито. Постучала. Фокусник тотчас открыл дверь и посторонился, пропуская Мадо в комнату.

Света в комнате было мало — горела лишь маленькая лампа под абажуром в углу, на столике, заставленном бутылками и стаканами.

Мадо села на край кровати.

Фокусник опустился перед ней на корточки, положил руку на ее колено.

— Мадо, — сказал он вкрадчивым голосом. — Мадо, маленькая шлюха. Мерзкая шлюха. Маленькая дрянь. Грязная маленькая дрянь. Курочка заждалась своего петушка... Сучка. Ах ты сучка! Что это за шляпа на тебе, Боже милостивый?

Она сняла шляпу, бросила ее на пол и стала раздеваться.

Тито налил в стакан вина, выпил, налил еще.

— Иди сюда, урод, — глухо сказала Мадо.

Тито сбросил халат и двинулся к ней. Наклонился и попытался повалить Мадо, но она увернулась, и Тито упал на кровать животом.

— Я не лошадь, урод, — прошипела Мадо. — Я наездница.

Он перевернулся на спину, она села сверху.

— Вот ты и дома, дружок, — пробормотала она, откидываясь назад. — А ну-ка!

Тито принялся мять ее маленькие груди, а Мадо подпрыгивала все выше, все быстрее и чаще. Глаза ее стали огромными, темными, страшными. Тито уже хрипел. Мадо застонала. Она принялась изо всей силы бить Тито кулаками в грудь, по лицу, он пытался увернуться, но она оказалась ловкой драчуньей, а когда он, протяжно застонав, попробовал оттолкнуть ее, Мадо с ножом в руке — Тито не успел заметить, откуда она его выхватила, — обрушилась на него, ударила, еще и еще — в шею, в плечо, еще раз в плечо. Он сбросил ее, свалился с кровати и пополз к двери, но и внизу, на полу, Мадо была ловчее мужчины. Она догнала его одним прыжком, навалилась с рычанием, ударила ножом в спину, еще раз, наконец ей удалось полоснуть его лезвием по горлу, и когда Тито судорожно задергался, она обхватила его руками и ногами, прижалась, вжалась, укусила и закричала в изнеможении, обрушившись наконец в темную бездну оргазма...

Когда Мадо очнулась, Тито был мертв. Мадо провела рукой по животу и груди — она была в крови с ног до головы. Сползла с Тито, добралась до столика и жадно выпила вина.

— Сдачи не надо, — прошептала она, с улыбкой глядя на Тито. — Сдачи не надо, урод.

Оделась и тихонько выскользнула из комнаты, посреди которой в луже крови лежал ничком мертвый мужчина.

На этот раз дверь в комнату Тео была открыта. Он лежал в постели и курил.

Мадо разделась и легла рядом с ним. От его огромного тела шел жар. Девочка обняла его руку и положила голову на плечо.

Тео молчал, перекатывая во рту языком овечий камень.

— Я не хотел его убивать, Мадо, — проговорил наконец он, вы-

плюнув камешек в ладонь. — Не хотел я убивать этого петушка, ей-богу. Ну совсем не хотел. Да и зачем мне его убивать? Что с него толку-то? Петух как петух... Не хотел я этого. Я просто хотел попробовать, вот и все. У этого парня здорово получалось, вот и мне захотелось. — Он помолчал. — Вот как оно бывает, Мадо. Хочешь добра, а творишь зло. Потому что думаешь о зле, вот почему это происходит. Творишь добро, а думаешь о зле, значит, желаешь зла. Вот и получается кругом зло. Оно внутри, Мадо...

— Ты не виноват, Тео, — прошептала Мадо. — Ты же не хотел ему зла, правда?

— Выходит, хотел, иначе не убил бы.

— Но это же всего-навсего петух, Тео! Дурацкая птица!

Тео помолчал.

— Моя жизнь изменилась, Мадо, — наконец проговорил он. — И теперь я не знаю, кто я такой. То есть — кто я такой на самом деле. Несколько дней назад я сходил в кинематограф и увидел себя...

— В кино? Разве ты актер?

— Нет. Но в этом кино я убивал людей.

— Но это же кино, Тео. Сказка. Они ведь там все выдумывают.

— Там была не выдумка, — возразил Тео. — Там был тот же город, в котором все это произошло, та же лестница, те же люди. Среди них был и я. Я стоял наверху и стрелял в людей, которые бежали по лестнице. Вот что я делал на самом деле.

— Но ты же сказал, что ты не актер... — Она запнулась. — О господи...

— Да, я был там. Я стрелял в детей и женщин, Мадо. Тогда, много лет назад, я их не видел, потому что был ослеплен нечистой страстью к женщине, а сейчас я все увидел, все разглядел. Видишь, Мадо, всегда надо смотреть в оба, всегда. Надо бодрствовать и смотреть в оба, чтобы не пропустить что-нибудь очень важное. Этого от нас и требует Бог. Только и всего: смотреть в оба. Понимаешь?

— Нет, Тео. Это слишком сложно для меня. Ты говоришь, это было давно?

— Двадцать один год назад.

— Меня еще и на свете не было!

— Я никого не хотел убивать. Никого, Мадо. Я вовсе не природный убийца. Я не хотел убивать Ивана Яковлевича, я был вынужден... Мне пришлось это сделать, потому что... потому что жена Сережи Младшенького беременна...

Эти имена ничего не говорили девочке, Мадо ничего не понимала, но слушала внимательно.

— Настю я просто оттолкнул, — продолжал Тео. — Она ударила меня ножницами в плечо, и я ее просто оттолкнул. Понимаешь? Она стукнулась затылком о стену и все, умерла. Я не хотел ее смерти, ей просто не повезло, так получилось... А Шимми... Шимми была пьяна. Она стояла на подоконнике и шаталась... она была пьяна... я протянул к ней руку, я даже не коснулся ее, я просто протянул руку, но она вдруг упала... — Тео застонал. — Я не убивал мясника — его убила Крикри. Она хотела убить меня, она стреляла в меня, я защищался... Она попала в своего дружка Поля, а я... это как на войне, как в бою... кто кого... — Зарычал. — Я не знаю, кто поджег дом мадам Танги! Она была малоприятной женщиной, это правда, но такой смерти она, конечно, не заслужила... Но я не знаю, кто это сделал... И этот чертов петух... Я не хотел убивать этого петушка! Не хотел!

— Тео...

— Мадо, я этого не хотел!

— Тео, я тебе верю...

— Но почему же Бог не верит мне? — Тео почти кричал. — Почему Он идет за мной по пятам, заставляя убивать невинных? Почему все эти случайности валятся на мою голову одна за другой? Что же это за Бог такой, который вдруг проснулся во мне? Или это и не Бог вовсе, а зверь? Но я не зверь, Мадо, не зверь!.. — Он содрогнулся всем своим большим телом. — Или мне назначено

пострадать? Но ради чего? И почему назначена такая цена? Неужели человеку недостаточно одного преступления?

Мадо принесла со столика графин с коньяком.

Тео жадно выпил из горлышка.

Девочка скользнула под одеяло, обняла его за шею.

Тео закурил.

Они молчали.

Гости матушки Полины давно разошлись, и тишину нарушал только шум ветра.

— И вот я стал другим человеком, хотя и остался в прежней шкуре, — снова заговорил Тео, положив руку на грудь. — Вот тут. Что-то там происходит. Как будто там что-то растет. Как будто это еще одно сердце. Не знаю...

— В приюте нам говорили: где сердце, там и другое, где два сердца, там всегда и третье.

— Третье?

— Ну да. Это они так о Боге говорили. Божье сердце. Сердце Иисуса. У нас с тобой два сердца, а с нами еще и сердце Иисуса. Понимаешь?

— Ты думаешь, что тут у меня растет сердце Иисуса?

— Не знаю, Тео. Доктор говорил, что у старых людей растут только волосы и ногти.

— Тогда что же растет у меня? Я чувствую, как оно бьется. Послушай, Мадо.

Девочка приложила ухо к его груди. Она услышала звук его сердца, а потом еще какой-то звук. Она подняла голову и испуганно прошептала:

— Черт возьми, там и правда что-то есть, Тео! Тебе надо к врачу!

— Может быть. Но сначала нам надо добраться до Лурда.

— Ты не бросишь меня, Тео? — после долгого молчания спросила Мадо.

— Я товарищей не бросаю, Мадо, — ответил Тео. — Ты слышала о пророке Ионе? Это из Библии.

— Который в китовом чреве сидел?

— Ну да, он самый. Бог послал его в один город, чтобы он там проповедовал, а Иона не захотел. Я думаю, он просто испугался: в том городе жили злодеи, они же могли убить Иону. И вот он решил бежать от Бога. Купил билет, сел на корабль и поплыл. Это были темные времена, люди еще думали, что могут сбежать от Бога, как от злой собаки. Они еще не понимали, что от Бога не убежишь, потому что невозможно убежать от себя. Но они этого еще не понимали. Он сел на корабль и поплыл. Он поступил плохо, и Господь решил его наказать. Он наслал на море страшную бурю. Все, кто был на корабле, перепугались, а Иона — больше всех. Он спрятался в трюме и заснул. Так бывает, Мадо. Один доктор говорил мне, что это шок. Человек становится сам не свой, не понимает что делает, лишается сил, а все от страха. Или от стыда. Стыд ведь тот же страх, только страх проходит, а стыд — никогда. — Он вздохнул. — Значит, Иона спрятался и уснул. А тем временем остальные решили бросить жребий, чтобы узнать, на кого разгневался Бог. Жребий выпал на Иону. И вот тут-то он и признался: да, братцы, это все из-за меня. Да, братцы, я сплеховал, струсил, пытался сбежать от Бога, и вот выходит, что из-за меня вам грозит гибель. Так что, братцы, бросьте меня в море, и вы спасетесь...

— А потом что?

— Они его бросили в море, а потом Бог его помиловал. Знаешь, Мадо, Иона, конечно, был трусом, но нашел в себе силы поступить по-товарищески. Он же не стал врать, изворачиваться и прятаться, он признался во всем и сам предложил себя в жертву. Он поступил по-товарищески, Мадо. Нашел в себе силы признаться в слабости и предложил себя в жертву. — Тео помолчал. — Недаром Бог его любил, прощал и помогал. Было что-то в этом Ионе... Говоришь, третье сердце? Наверное, так оно и есть...

— Что — так и есть?

— Спи, Мадо.

— Тео...

— Да?

— Я убила одного человека. Я убила Тито.

— Мадо...

— Он пытался меня изнасиловать, Тео. Он затащил меня в свою комнату и набросился на меня. Я не хотела его убивать, так получилось. Это вышло случайно, честное слово. Мне просто не повезло. Мне вообще не везет. Тебе же тоже не повезло, правда? Нам с тобой просто не повезло. Тео...

Тео молчал.

— Тео, — позвала Мадо. — Ты не бросишь меня?

— Не брошу, Мадо, — наконец ответил Тео.

— Тео...

— Да, Мадо...

— Тео, не бросай меня! Тео, пожалуйста! Помоги мне, Тео! — Она обняла его, прижалась к нему, вжалась в его огромное тело. — Тео, пожалуйста, только не бросай меня! Ты же понимаешь меня! Только ты и понимаешь! Они снова запрут меня в больнице! Я не выйду оттуда до самой смерти! Я сгнию там, Тео! Я так не хочу, нет! — Она дрожала. — Мы будем вместе, Тео, да? До конца?

— Вместе, Мадо, — после долгого молчания ответил он. — До конца.

Сквозь полудрему Тео слышал легкие шаги в коридоре. Шаги то удалялись, то приближались. Наверное, это жена хозяина, лежачая подумал Тео. Безумная женщина, потерявшая сына и ищущая свои глаза. Она ступала легко: ее муж сказал, что она снимает обувь, чтобы не беспокоить постояльцев.

Мадо спала рядом, уткнувшись лбом в его плечо. Она тихо посапывала.

Шаги удаляются, приближаются...

Шаги удаляются. Стихи. Больше ни звука. Разве что шум ветра и морского прибоя, как шум крови, точащей слабые жилы, вскипающей багровым валом в бездне сердца, но бессильной взломать одиночество, разбить эту невидимую дверь, разрушить

эти невидимые стены, мокрые, скользкие на ощупь, стены, от которых веет стужей, тысячелетним льдом одиночества, стены со всех сторон, и даже если выйдешь из этой камеры, все равно вокруг будут только новые и новые стены, узкие коридорчики, маленькие зальчики с низкими неровными потолками и пятнами сырости в углах, да внутренние дворики, полузасыпанные сырым песком, и снова коридоры — холодные, грязные, безлюдные... И сердцу, конечно, не под силу наполнить теплом, дать жизнь этому пространству — этим бесконечным коридорам, внутренним дворикам без неба над головой, сердцу не под силу уничтожить эту головокружительную бесконечность одиночества, это ужасающее пространство, в котором способен жить лишь мертвый ум, плененный бесчеловечной, чудовищной, безбожной геометрией. В тесной камере, где ни встать во весь рост и ни лечь, ни вытянуться во весь рост, где в узкое окошко виден лишь кусочек вечно мокрой, покрытой серо-зеленым мхом стены, где неведомо откуда раз в сутки — днем или ночью? — появлялась миска с остывшей похлебкой и куском липкого льдистого хлеба, он провел много лет, став старше, но не мудрее, словно время — для него одного — остановилось, замерло, замерзло. Все эти годы он думал только о том, как бы выбраться отсюда, из этого лабиринта, — нет, он думал не о свободе, лишь о том, как выбраться, и все. И кое-что делал. Наконец ему удалось — ногтями, обломком ложки и чем-то еще — прокопать лаз, нору — узкую, едва втиснешься, ведущую невесть куда, быть может, на волю, а может, в другую камеру или в коридор. Он увидел себя лежащим в конце этой норы, тяжело дышащим, липким от ледяного пота, возбужденным, пылающим от страха и упрямой уверенности, которая иногда зовется надеждой. Он вынимал из кладки камень за камнем, расширяя отверстие, в которое врвался ветер, соленый морской ветер, дыра все шире, он уже может высунуть голову наружу...

Внизу, головокружительно далеко внизу бьются об острые камни волны прибоя. Но выбора нет. Где-то неподалеку, в выщи-

не, гнусаво перекликаются часовые. Скоро принесут похлебку, и нора будет обнаружена. Надо прыгать. Спуститься по этой отвесной стене невозможно. Он подгибает ноги и, зажмурившись и сильно оттолкнувшись, прыгает вперед головой (уж если смерть, то — сразу), в животе все переворачивается, боль из груди резко перемещается вниз и вспыхивает в паху, ноги деревенеют, от затылка до пят кожа будто утыкана иголками... Удар! И в первое мгновение не понять, что это — смерть или начало новой жизни, он еще страшится открыть глаза, а сердце бешено колотится: жив! жив! жив! Болят плечи. Он с силой разводит руками, открывает глаза: перед ним зеленоватая, с желтым оттенком вода, всплывать нельзя ни в коем случае: заметят со стен. Что-то бухает — глухо, далеко, да это пушки палят: узник бежал.

Воздуха в легких хватит надолго, он накапливал его годами, десятилетиями, копил не только в легких, но во всех пустотах, во всех полостях — в желудке, кишках, мочевом пузыре, в толстых костях, даже в черепе — между мозгом и костью, — так что воздуха должно хватить надолго, он уговаривает себя, а перед глазами — только мчащиеся сквозь желтовато-зеленую толщу микроскопические искорки-песчинки. Ниже опускаться нельзя, там затонувшие корабли, города, страны и народы, широкобедрые амфоры и чудовища, там клюворылые звери неведомые, в пасти которых гибель неизбежна, но отвратительна, и даже не разглядишь в этой самосветящейся полутьме, кто тебя схватит и сдавит ледяными щупальцами, чья омерзительная туша притянет тебя, как планета притягивает спутник, притянет, чтобы вдруг обжечь ядом и сожрать, даже не убив прежде, окутать тебя студенистой, расплзающейся под руками, но бесконечной массой своего тела, своей ядовито-студенистой плотью. Наверх пути нет — там люди, враги, пушки, высокие черные стены и башни на одиноко высящейся посреди океана скале, мрачные шпили, над которыми столетиями висят одни и те же тучи, поливающие остров и тюрьму нескончаемыми дождями, — нет, нет, трижды нет, только впе-

ред, пока хватает воздуха, пока хватает сил, и только не смотреть вниз — там что-то темнеет и колышется, пульсирует и движется — чудовище, колоссальный скот океана, тоскливо-жестокий, громоздкий, неуклюжий, забытый Создателем хищник, никогда не поднимающийся на поверхность, грандиозная конструкция из могучих мышц и желе. Нет, только вперед — а как тянет посмотреть вниз, — нет, нельзя, ни в коем случае, только вперед — пока не иссякнет воздух в теле, а потом и еще немножко вперед, и уже только после этого — быстро к солнцу, к небу, к желтому и синему, к жарко-желтому и нежно-синему, прочь от ледяных глубин, прочь, прочь, наверх... И вот он наконец делает последнее движение, уже в светлой воде, взволнованной и безопасной, лишь тонкая светящаяся пленка отделяет его от воздуха, младенец прорывает пленку, широко открытым жадным ртом хватается за воздух, свежий, круто посоленный воздух — дух — свободы...

Он пока ничего не видит, вокруг лишь колыханье воды. Но вот он поднимается на гребень волны и с замиранием сердца — нет! о нет! не может быть! ни за что! невозможно! Боже, Боже, ну почему, почему Ты меня оставил, Боже! — видит вокруг пустыню.

Ужас и тоска сжимают его ледяными щупальцами, проникают внутрь, обвиваются вокруг сердца, исторгают стон из груди, он дрожит от холода, ему больно, больно, невыносимо больно! Вокруг — чуть всхолмленная бескрайняя океанская равнина. Колышутся тысячетонные массы серой холодной воды под серым, стылым, бескрайним небом, по которому тянутся те же облака, что висят над островом-тюрьмой, и лишь у самого среза вод небо окрашено в мутно-коричневый цвет. Восход или закат? Скорее всего — закат.

Огромная, бескрайняя, умопомрачительная пустыня, и в центре — человек, человек, человечешко, барахтающийся в воде, и ни звука, ни одного живого звука, только шум ветра да переплеск волн. Один на всем сером свете. Один-единственный-одиношенький, всеми покинутый, усталый, печальный, уже — рав-

нодушный. Последний человек на закате последнего дня человечества. Никого живого, ни клочка обитаемой суши — лишь где-то вдали остров-тюрьма.

Все. Конец. Огромная остывающая капля воды в форме земного шара равнодушно вращается в безмерном пространстве, и неразличимой точкой на капле — человечешко, жаждущий услышать хоть что-нибудь, кроме собственного голоса. Пусть это будет грохот пушек, лязг запоров, гнусавые крики часовых, чьи-то затихающие в лабиринте шаги. Гаснет мутно-коричневая полоска неба. Беззвездная тьма. Выбора нет: или назад, на остров, или вперед — к чудовищам. Гаснет и зрение. Сколько веков он плавает в этой холодной пустыне, не слыша иного звука, кроме шума ветра да биения собственного сердца?

Ну нет! Встряхнувшись и набрав воздуха, он ныряет с открытыми глазами в глубину. Вода все темнее. В голове шум, стон — тонкий стон. В ушах постукивает. Так-так, тик-так. Времени нет. И больше не будет. И вот из бездны — из самых подлых, из самых стылых глубин темного сердца жизни — что-то начинает двигаться ему навстречу. Что-то громоздкое, непомерно огромное, липкое, холодное и мерзостное. Там тьма все гуще и все безысходнее. Оттуда движется, близится, надвигается, воздух на исходе, что-то чавкает и хрустит, и он — о Боже — радуется звукам, из последних сил устремляясь навстречу тому, что темнее тьмы, — навстречу зубам, щупальцам, когтям, клыкам, — и с рычанием, пытаюсь ухватить чью-то руку зубами, всхлипывая и мыча, потный, напрыгавшийся, стонущий, — просыпается, о Боже, он проснулся — в темноте, рядом с одноногой девчонкой, одинокий, свободный и потный...

Вязкий и многословный сон... Но Тео с удивлением вдруг понял, что этот сон вовсе не измучил его, а даже принес облегчение.

Мадо всхлипнула во сне, нащупала руку Тео, вздрогнула и затихла.

Тео легонько сжал ее руку.

Им суждено быть вместе. До конца.

В утренних газетах, когда они завтракали у матушки Полины, Тео наткнулся на заметку о зверском убийстве испанца Пабло Эстевеса по прозвищу Барро, хорошо известного парижской полиции. Он был зарезан в постели. Полиция подозревала в убийстве его сожительницу, малолетнюю одноногую проститутку и воровку Мадлен Дюмонсо. В газете сообщалось, что она сбежала из приюта, хладнокровно зарезав директора и его несовершеннолетнего сына, а потом ухитрилась прикончить сторожа и удрать из приюта для душевнобольных, после чего нашла прибежище в Париже, где и сошлась с Барро.

В газете писали, что доктор Сен-Илер, наблюдавший за опасной преступницей в приюте, назвал ее патологической убийцей, страдающей так называемым нравственным помешательством (*folie morale*), то есть недостаточностью или полным отсутствием нравственного чувства при сохранении нормальных умственных способностей. Эту болезнь изучали авторитетные французские психиатры Филипп Пинель, Жан-Этьен Доминик Эскироль и великий Огюст-Бенедикт Морель, а также английский врач Джеймс Причард (предложивший для таких случаев термин *moral insanity*). При всей своей неказистости Мадлен Дюмонсо умудрялась соблазнять мужчин, которых после соития безжалостно убивала.

«Ее поведение сравнимо с поведением, например, самки паука-крестовика, которая убивает своего любовника после совокупления, — заметил доктор Сен-Илер. — Такие существа не поддаются лечению или исправлению, поэтому остается одно — держать их в закрытых приютах под строгим надзором. Человек — это другие люди. Но Мадлен Дюмонсо, как дикому животному, неведомы ни страх, ни сострадание, ни ненависть, ни любовь, ей никто не нужен: она живет безотчетной жизнью».

Тео не стал показывать эту заметку Мадо, потому что ничего нового из газеты не узнал. Бессердечная одноногая девчонка, мечтающая о чуде, тихо посапывала рядом с Тео в убогой дере-

венской гостинице. При слабом свете ночника ее лицо казалось умиротворенным и красивым, как у женщины после счастливого соития. Тео осторожно поцеловал ее в ухо, повернулся на бок и закрыл глаза. Ни ненависть, ни любовь... Это он понимал плохо. Зато хорошо понимал, что человеку никто не нужен, если он не нужен никому. Тео дал слово Мадо, значит, она ему была нужна. Что ж, значит, до конца.

15

Тео разбудил хозяина гостиницы в шесть утра и сказал, что ему нужно срочно уехать. Поднятый с постели Жан-Клод — Тео ему пособлял — поставил рессору на место. Они управились за час.

— Жаль, что вы уезжаете, мсье, — сказал хозяин, помогая Тео погрузить в машину клетку с птицей. — Сегодня приедут циркачи, будет представление. Ну да что ж, доброго вам Рождества. На вашем месте... — Хозяин понизил голос. — На вашем месте я бы держался подальше от больших дорог.

— Нам нужно попасть в Лурд, — сказал Тео. — Нам действительно туда нужно.

— Оставьте хотя бы птицу. Об этой птице написали уже во всех газетах. — Он протянул Тео свернутую вчетверо газету. — Оставьте, я позабочусь о ней.

— Это скворец, — сказал Тео. — Спасибо и доброго вам Рождества.

Они позавтракали неподалеку от Шатору, объехали Лимож по проселочным дорогам и двинулись в сторону Кагора. Хозяин «Трех петухов» сказал, что в Лурд можно попасть через Монтобан, а можно свернуть и раньше, сразу после Кагора, «а там да может вам Бог».

— Рождество, — сказала Мадо, когда Тео в очередной раз свернул на тряский проселок. — Ты любишь Рождество?

— В России на Рождество стоят сильные морозы. Реки скованы льдом, земля трескается от лютого холода.

— Когда я жила в приюте, у нас однажды выпал снег...

— В России зимой много снега. Знаешь, почему волхвы так долго искали младенца Иисуса? Они увязли в снегу, в сугробах. Снега было по грудь.

— Разве Иисус родился в России?

— А где же еще!

Мадо покачала головой, но промолчала.

Начинало смеркаться, когда двигатель вдруг закашлял, взревел, а потом заглох. Тео вылез из машины, покопался в моторе.

— Кончился бензин, — сказал он. — Если верить карте, километрах в двух-трех отсюда должна быть деревня. Надо бы чем-нибудь обернуть клетку — птица может простудиться и умереть. А она ведь тоже наш товарищ.

— Я думала, на юге тепло, — проворчала Мадо. — Мы же на юге, правда?

— На юге, — сказал Тео. — Но ведь сейчас Рождество, и должно быть холодно.

— Мы же не в России!

— Где Иисус, там и Россия, — возразил Тео. — Пошевеливайся, Мадо: скоро стемнеет.

Мадо вытащила из своего мешка большой платок. Тео набросил его на клетку, Мадо завернулась в меховое пальто, которое волочило за нею как шлейф, и они тронулись в путь.

Деревня оказалась горсткой домов у подножия огромного древнего собора. Вход в храм был украшен еловыми ветвями, золотыми звездами и освещен керосиновыми фонарями.

Напротив собора теплился огонек над дверью кафе. На вывес-

ке не было никакой надписи — только изображение оскаленной волчьей морды.

Хозяйка — сухонькая старушка, сидевшая в инвалидном кресле, — только покачала головой, когда Тео спросил ее о бензине.

— Бензин! До нас цивилизация еще не добралась, мсье. — Она поманила к себе Мадо. — Бедное дитя! Да ты замерзла! Я сейчас напою тебя горячим кофе. Чича! Чича!

Вошла толстая служанка в переднике.

— Приготовь-ка нам кофе, Чича!

— Мадам, а далеко ли до города? — спросил Тео.

— Тридцать километров. Но ведь сейчас Рождество, все закрыто.

— А керосин?

— Керосин?

— Ну да, у вас есть керосин?

— Керосин найдется.

— А еще нужен спирт. Или крепкая водка. Однажды мы заправили бензобак арманьяком, и я проехал на том грузовике почти сто километров. Это было во время войны.

Старушка засмеялась.

— Сейчас сюда спустится мой племянник, Арман, он жандарм, и у него найдется то, что вам нужно. Он делает крепкую виноградную водку. Она горит, мсье. Арман! Чича, позови Армана!

— Спасибо, мадам. — Тео вдруг побледнел и опустился на стул. — О черт!

— Тео! — крикнула Мадо. — У него сердце...

— Ничего. — Тео попытался улыбнуться. — Не найдется ли у вас рюмки коньяка, мадам? Коньяк расширяет сосуды.

Толстая служанка принесла графин и стакан. Тео сделал глоток.

— Ее племянник жандарм, — прошептала Мадо. — Надо уносить ноги.

Тео кивнул.

Мадо и Чича помогли ему встать.

— Гостиницы у вас тут тоже, наверное, нет, — сказал Тео.

— Нет, мсье. Но тетушка Брюно, я думаю, может сдать вам уютную комнату. Чича вас проводит. Чича!

Толстуха накинула на голову большой шерстяной платок.

— Мадам, это скворец, — сказал Тео, кивая на клетку. — Ничего, если он какое-то время поживет у вас?

— Ну конечно! Какой красавчик!

Они вышли на маленькую площадь. Тео шел медленно — у него кружилась голова, он чувствовал слабость во всем теле.

— Эй, приятель! — послышался сзади мужской голос. — Дружище!

Их догонял мужчина в жандармской форме. Усатый, коренастый, с револьвером на бедре. Он шагал торопливо, держа руку на кобуре.

Тео выхватил из кармана револьвер.

— Стоять, Арман! Ни шагу!

Жандарм остановился.

— Ни шагу, — повторил Тео.

До его слуха донесся какой-то звук. Звук приближался и был похож на шум работающего мотора.

— Это глупо, мсье, — сказал жандарм. — За вами гонится вся французская полиция и жандармерия. Вы, наверное, знаете, что существует такая штука, как телефон? Телефон и телеграф. Все жандармы предупреждены. Вам не уйти. — Он перевел дух. — Я должен вас арестовать, мсье. Ну куда вы пойдете? Куда? Не вынуждайте меня прибегать к оружию, мсье. С вами ребенок...

Чича вдруг охнула и бросилась бежать.

Из проулка с грохотом выкатился крытый брезентом грузовик, развернулся, затормозил, из него стали выпрыгивать жандармы.

— Ни с места! — закричал Тео. Он схватил Мадо за плечо и

приставил к ее голове ствол револьвера. — Ни с места — или я разнесу ей голову!

— Тео, черт возьми! — зашипела Мадо. — Мне больно!

Жандармы остановились в замешательстве, сбились в кучу.

— К церкви! — приказал Тео. — Шагу, Мадо!

Пока они двигались к храму, Тео внимательно следил за жандармами, но ни один из них даже не попытался взять его на мушкету, опасаясь, видимо, за жизнь ребенка. Ребенка-калеки. Конечно, их проинструктировали, объяснив, как опасна Мадо, Мадлен Дюмонсо, но они видели ребенка на костылях...

Наконец Тео и Мадо протиснулись между створками тяжелых дверей и оказались внутри храма.

Алтарь был ярко освещен, перед ним стоял высокий человек в черном. Он обернулся, перекрестился и медленно двинулся к ним. Из-за колонны за ним со страхом наблюдал служка, тощий и косоглазый.

— Что теперь? — спросила Мадо. — Черт, надо искать выход, Тео!

— Где вход, там и выход, — глухо сказал Тео. — Вот уж не думал, что придется умирать в такой глухомани.

— Я не хочу умирать, — проговорила Мадо, лязгнув зубами. — Они запрут меня в больнице, я знаю. Они разденут меня догола, а потом... Знаешь, что они сделают со мной потом? Я не хочу умирать. Я убью кого угодно, но вырвусь отсюда! Убью!

Тео промолчал.

— О чем ты думаешь? — спросила Мадо.

— О каске. Зря я оставил ее в машине.

Вершина храма тонула в ночной темноте. Эта церковь поражала воображение и при дневном свете, но сейчас она казалась и вовсе не делом рук человеческих, а частью ди-

кой природы, результатом тектонических сдвигов в земной коре, лопнувшей под натиском кипящей магмы, выбившейся из темного сердца земли потоком лютой злобы, но остановленной Господом, Который всюду попирает зло, и превращенной Им в Его дом. Утратив в темноте четкость очертаний, храм высился на холодном ветру грубой, уродливой, омерзительной и почти бесформенной глыбой, в глубинах которой, однако, и горел негасимый свет любви и жизни. И если жилые дома и даже дворцы мертвы без людей, мертвы и бессмысленны, то этот храм не нуждался в людях, чтобы обрести смысл, — он сам и был смыслом, а люди нуждались в нем...

Становилось все холоднее.

Громыхая мерзлыми деревянными бортами, прибыли еще два автомобиля с подкреплением. Машины поставили так, чтобы свет фар падал на массивную дверь церкви. На площади разложили несколько костров, у которых грелись вооруженные люди.

Местный жандарм, Арман, угощал товарищей крепкой водкой. Некоторые наполнили ею фляжки — ведь неизвестно, сколько еще предстояло торчать на холоде.

Штурмовать храм было бессмысленно — его стены могли выдержать прямое попадание крупнокалиберного снаряда, да и дверь можно было пробить разве что из пушки. Во времена альбигойских войн засевшие в этом храме еретики выдержали многомесячную осаду крестоносцев, возглавляемых папским легатом аббатом Мило. Крестоносцы пытались с помощью тяжелых катапулт разрушить храм, но им это не удалось. В старину хорошо строили.

Преступник был вооружен и в любой миг мог пустить в ход оружие, как делал это уже не раз. Буквально несколько часов назад в деревушке близ Вьерзона он зарезал бродячего циркача — мужчину нашли в гостинице на полу в луже крови. Уже было известно, что он воевал в составе Русского легиона чести, входившего в Марокканскую дивизию, не раз демонстрировал храбрость в бою и был награжден четырьмя крестами — двумя фран-

цузскими, с бронзовой пальмой и серебряной звездой, и двумя русскими. Как говорится, бывалый человек, не раз смотревший смерти в лицо. Да и отступить ему некуда. Неизвестно, что он задумал. Впрочем, выбора у него не было: войти и выйти из церкви можно было только через главную дверь. Но на всякий случай храм окружили цепью жандармов.

После недолгого совещания было решено послать в храм парламентаря. Идти вызвался Арман: «Все же он мне уже не чужой — моя тетушка угощала его коньяком».

Он постучал — дверь приоткрылась.

Через минуту Арман вернулся и доложил начальству, что преступник требует привезти его каску, которая осталась в автомобиле.

За каской отправили грузовик с отрядом жандармов, они вернулись через час — Тео не смог объяснить, на какой дороге он оставил свой автомобиль, — и каску, тщательно осмотрев, через того же Армана передали в церковь.

— У него больше нет никаких просьб, — доложил Арман. — Похоже, он запирает дверь церковной скамьей. На дверях изнутри есть железные петли, в которые входит спинка скамьи. С ним девочка, кюре и служка Жан-Жак.

— Что он говорит?

— Ничего не говорит. Он думает. Он так и сказал: мне надо подумать. — Арман помялся. — Его казнят, господин комиссар?

— А как вы думаете? — Комиссар с мрачным наслаждением вдохнул свежий табачный дым. — Конечно, это решать суду, но думаю, что триста четырнадцатой статьи ему не избежать. А эта статья предусматривает только один способ наказания — гильотину.

Тео сдвинул скамейки, Мадо, завернутая в меховое пальто не по росту, легла на жесткое ложе и закрыла глаза. Она твердо решила пустить в ход нож-выкидушку, как

только речь пойдет о ее свободе. Ей было все равно кого убивать — кюре, косоглазого служку, жандармов или даже Тео, — лишь бы вырваться из этой западни. Она надеялась на заварушку, которая наверняка случится, если жандармы попытаются штурмовать храм. И если случится заварушка, она не упустит своего шанса. Она не собиралась умирать заодно с кем бы то ни было. Даже заодно с Тео, который, похоже, совсем спятил. Ей было холодно, но она не жаловалась, чтобы не привлекать к себе внимания.

Тео проверил оружие. В револьвере Лебея — полный барабан, шесть патронов, в браунинге, который он редко доставал и хранил в потайном кармане, — еще семь. Итого — тринадцать выстрелов.

Он предложил кюре глотнуть из фляжки, которую ему тайком передал Арман, чтобы «спасти от холодной смерти святого отца и эту бедняжку». Отец Андре — ему было лет пятьдесят — приложился к фляжке, закашлялся.

— Узнаю пойло Армана!..

— Оно горит, — сказал Тео. — Его можно заливать в бензобак.

Тео снял с себя кожаную куртку на меху и набросил на плечи служке.

— Сын мой, что же случилось? — спросил кюре. — Почему вы здесь?

Тео вздохнул.

— Еще несколько дней назад, святой отец, я думал, что я герой войны и добропорядочный человек. Но вот случилось... Случай открыл мне глаза, и я понял, что я преступник. Я совершил преступление двадцать один год назад, а узнал о нем только сейчас... Тогда, двадцать один год назад, я думал, что всего-навсего выполняю приказ. Я думал, что стреляю в мятежников, а вот сейчас выяснилось, что это были не мятежники, а женщины и дети. После этого моя жизнь перевернулась, господин кюре. Я был вынужден убить друга, а потом... и вот я здесь... мы едем в Лурд...

— Вот как...

— В газетах пишут, что брат Жером, который живет в Лурде, творит чудеса. Я хочу помочь Мадо: ей так хочется новую ногу...

— Ногу? Боже мой, о чем вы говорите?

— Брат Жером написал, что сделает ей новую ногу. Он творит чудеса, и она в это верит.

— Брат Жером... — Священник покачал головой. — Брат Жером жулик, и вчера его арестовала полиция. Вы не читали об этом в газетах? Брат Жером — проходимец и мошенник, наживавшийся на чужих несчастьях.

— Арестован... — Тео наклонился к священнику. — Только не говорите об этом Мадо. Она несчастна, господин кюре, она больна и несчастна. Мы проделали с ней такой путь...

— И вот вы здесь...

— И вот я здесь. — Тео помолчал. — Тут... — Он приложил руку к груди. — Тут что-то мешает. Оно растет и болит...

— Растет?

— Растет, святой отец. Наверное, тут у меня растет сердце Иисуса, и оно не дает мне покоя, черт бы его побрал.

Священник смотрел на него с изумлением.

— Тогда, двадцать один год назад, я стрелял в женщин и детей, но не видел их. Я не видел людей, в которых стрелял. Я был слеп, господин кюре. Я был ослеплен нечистой страстью. Я желал одну женщину... я страстно желал ее, я думал только о ней, я не мог больше ни о чем думать, только о ней, я обожал ее, я готов был на все, я ничего не слышал и не видел, я слышал только ее голос, видел только ее живот, ее лобок...

Кюре кашлянул.

— Я был слеп, святой отец. А спустя двадцать один год я прозрел. И тогда же у меня стало расти тут... сердце Иисуса... третье сердце...

— Сын мой, о чем вы говорите?

— Эта девочка, — Тео кивнул на спящую Мадо, — совершенно бессердечное существо. У нее нет сердца. Но зато у меня их два.

Того, что у меня есть, хватит на двоих. Понимаете? Где два, там и третье, а третье сердце — сердце Иисусово... Но если это сердце благого и милосердного Иисуса Христа, то почему же оно так мешает, так болит и мешает, черт возьми? Иногда мне кажется, что оно вырастет величиной с арбуз. Или с тележное колесо. Оно станет больше меня... Почему оно мешает и мучает, господин кюре?

Отец Андре помолчал, собираясь с мыслями.

— А что вы сами об этом думаете?

— Это что-то внезапное и неотложное, господин кюре. И от этого невозможно избавиться. Говорят, что Бог — продавец стыда. Я знаю, что такое стыд... я не бессовестный человек, поверьте, я никогда не подводил товарищей... Но ведь и стыд... поболит и проходит... время лечит... Это что-то другое. Это страшнее. Понимаете?

— Кажется, понимаю, — сказал кюре.

Тео помолчал.

— Господин кюре, эта дверь — единственный выход из храма?

— Конечно, сын мой.

— Старый храм, — пробормотал Тео. — Очень старый храм.

— Он построен незадолго до альбигойских войн. Это было во-семьсот лет назад. Еретики использовали этот храм как крепость. Темные люди, темные времена...

— Крепость... А не найдется ли здесь воды? — вдруг спросил Тео. — Хотя бы ведро.

— Ведро?

— Ведро воды и кусочек мыла.

— В ризнице... — Кюре повернулся к косоглазому сонному служке. — Жан-Жак! Принеси воду и мыло.

— Мыло, господин кюре? — испуганно проблеял служка.

— Скорее, Жан-Жак! Ведро воды и кусочек мыла. И полотенце!

— Ваше полотенце, господин кюре?

— Мое полотенце. Поторавливайся, Жан-Жак! — Кюре повернулся к Тео и развел руками. — Он сирота. Существо не от мира

сего. Больше всего ему нравятся старинные книги. Он даже спит с книгой под подушкой.

— Я тоже люблю старинные книги, — сказал Тео. — Особенно с картинками.

Кюре сдержанно улыбнулся и покачал головой: этот убийца почему-то не вызывал у него страха — только жалость. Жалость, смешанную с симпатией. Отец Андре знал, как опасно смешение этих чувств, но ничего не мог с собой поделать. В конце концов, подумал он, мы всегда имеем дело не только с высоким образом, но и с ничтожным подобием Господа, — подумал он и испуганно перекрестился.

Мадо проснулась и села, зевая и почесываясь. Она злобно смотрела на неловкого служку, с трудом тащившего ведро, на кюре, на Тео, который зачем-то снимал свитер и нижнюю рубашку. Мадо хотелось курить, но она не знала, как к этому отнесется Тео: если он заодно с кюре, то ей влетит за курение в Божьем храме. Мадо вздохнула и на всякий случай проверила, на месте ли нож-выкидушка.

Тео разделся до пояса и стал умываться ледяной водой. От его тела пошел пар. Он растерся полотенцем, прицепил к свитеру свои четыре креста и надел на голову адриановскую каску.

Мадо фыркнула. Она подошла к Тео, подняла полы пальто и, поудобнее пристроив костыли, присела над ведром. Священник отвернулся. Но журчание он, конечно, расслышал.

— Пора, Мадо, — тихо сказал Тео.

— У тебя есть план? — Мадо насторожилась. — Что ты задумал, Тео? Ты придумал, как нам отсюда выбраться?

— Где вход, там и выход, — сказал Тео. — Пора. Больше откладывать нельзя.

— Что ты собираешься делать?

— Пока не знаю.

Он вдруг замолчал и двинулся к алтарю, но на полпути остановился и повернул назад.

— Не хотите ли исповедаться, сын мой? — спросил кюре.

— Мне больше нечего сказать, святой отец, — ответил Тео.

— Бог милосерд...

Тео поманил к себе служку. Когда тот подошел, кося от страха еще сильнее, Тео достал из кармана куртки, брошенной на плечи мальчика, маленькую коробочку, вынул из нее белый камешек и сунул в рот.

«Скорее бы, что ли, — подумала Мадо. — Скорее бы его пристрелили, что ли».

Тео подошел к двери, уперся лбом в доску, замер.

Мадо сунула руку в карман, нащупала нож-выкидушку. От скамьи, на которой сидела Мадо, до двери было шагов пять-шесть. Два прыжка, удар ножом в спину, под левую лопатку, и делу конец. Плохо только, что в церкви каменный пол: Тео услышит стук костылей, а без костылей до него не добраться. Если бы он лег на скамью, Мадо без труда прикончила бы его. Он и пикнуть не успеет. Она умеет бегать на четвереньках, как кошка. Если бы только ей удалось оказаться рядом с ним...

— Тео! — позвала Мадо. — Иди сюда, Тео.

Он обернулся.

— Иди сюда, — повторила она. — Сядь рядом. Мне нужно тебе кое-что сказать. Это важно, Тео...

Он сел на скамью лицом к ней.

— Ближе, Тео, — прошептала Мадо.

— Что ты хочешь сказать, Мадо? — Взгляд Тео был суровым и отрешенным.

— Тео... — Рука Мадо по-прежнему сжимала в кармане нож. — Я люблю тебя, Тео.

Он молчал.

— Я люблю тебя, Тео, — снова сказала она, придвигаясь к нему. — Тео...

— Дай руку, Мадо.

Она протянула ему левую руку.

— Правую, Мадо.

Поклебавшись, она подчинилась его приказу.

— Поцелуй меня, Мадо, — глухо сказал он. — В губы.

Мадо растерялась. Она потянулась к нему губами, он вдруг обнял ее и с силой прижал к себе, его губы были горячи и влажны, губы Мадо приоткрылись, и в этот миг он втокнул языком камешек ей в рот. Она вздрогнула, но он не отпускал ее.

— Это камень, — прошептал он. — Волшебный камень, Мадо. Держи его во рту, и он вберет в себя все зло, которое скопилось в тебе. Ты поняла, Мадо? Не расставайся с этим камнем!

— И долго держать? — испуганно спросила она шепотом.

— Пока не почернеет.

Он встал и направился к двери, обогнув священника и служку.

Мадо проводила его растерянным взглядом, выплюнула в ладонь камешек и устала на него. Обычный камень, каких много на речных берегах. Обыкновенный голыш, маленький и белый.

Тео снова уперся лбом в дверь. Священник и Мадо наблюдали за ним с беспокойством. Этот огромный мужчина был загнанным зверем, способным на любой безрассудный поступок, который мог погубить их всех — кюре, одноногую девчонку, самого Тео и, конечно, косоглазого служку, этого Жан-Жака. Но только он, этот косоглазый, и сохранял спокойствие, с интересом разглядывая Мадо.

— Что пляшешься? — не выдержала Мадо. — Ну что ты на меня уставился, а?

— Извините, мадмуазель, — смущенно пробормотал Жан-Жак.

— Господин кюре!..

Кюре вздрогнул.

— Господин кюре, — повторил Тео. — Здесь должна быть еще одна дверь. Выход. Какой-нибудь лаз... подземный ход...

— Мсье! — Кюре даже всплеснул руками. — Как же вы наивны, боже мой! Это церковь, храм Божий! Подземные ходы остались только в книгах господ сочинителей вроде Дюма...

— Вы сами говорили, что во время войны здесь оборонялись какие-то еретики...

— Восемьсот лет назад! После тех событий храм был перестроен, много раз ремонтировался... Когда-то была дверь в ризнице, она вела на небольшое кладбище, но лет сто назад эту дверь заложили. Неужели вы думаете, что я не знал бы о подземном ходе? — Кюре широко повел рукой. — Ну где ему тут быть, помилуйте?

— За алтарем, господин кюре, — тихо сказал Жан-Жак.

— Что? — Священник уставился на служку. — Громче, Жан-Жак! Что ты там лепечешь?

— Не бойся, — сказал Тео, кладя руку на плечо служке. — Говори.

— В наших книгах... в церковных книгах написано, что дверь в подземный ход находится за алтарем... там, где железное кольцо в стене...

— Какая нелепость! — не сдавался кюре. — Этим записям во семьсот лет. Что только не выдумывали темные люди в те темные годы... и священнослужители не были исключением... один из них лечил людей истолченными в ступке страницами Евангелия...

— Эта запись сделана в конце эпохи террора, в тысяча семьсот девяносто четвертом году, — возразил служка. — Здесь тогда служил отец Гийом. Однажды он вывел отсюда подземным ходом и тем самым спас несколько семей, остававшихся верными королю... так написано в книге...

— Боже ты мой... — Кюре был растерян. — Подземный ход! Хорошо, что этого никто не слышит, иначе нас всех отправили бы в сумасшедший дом...

— Пошли! — приказал Тео. — Вы тоже, господин кюре.

Из стены за алтарем и впрямь торчало ржавое кольцо, обмотанное бечевкой. Служка повернул его, и в стене открылся узкий проем, из которого пахло сыростью и гнилью. Вниз вели крутые ступеньки.

— Далеко он тянется? — спросил Тео.

— До фермы мадам Нодье, — ответил служка. — Это около двух километров к югу.

— Годится, — сказал Тео. — Возьми фонарь. Или свечу. По толще!

Служка бросился в ризницу.

Тео повернулся к Мадо.

— Уходи, — сказал он. — Не бойся. Мальчик проводит тебя. — Он сунул ей в руку пачку купюр. — Этого хватит, чтобы добраться до Лурда... или куда хочешь...

— А ты?

— Я отвлеку их. Уходи. — Он привлек ее к себе и крепко поцеловал в губы. — Я люблю тебя, Мадо. Прощай. — Кивнул служке. — Иди первым. Надеюсь, ты не подведешь меня, малыш?

— Нет, мсье, — со смущенной улыбкой ответил Жан-Жак. — Можете не беспокоиться. Дверь закроется сама, когда мы окажемся на последней ступеньке.

— Жан-Жак... — Кюре замялся. — Поосторожнее там, Жан-Жак. И не теряй головы. Ты меня понял?

— Да, господин кюре.

Когда за ними закрылась дверь, кюре покачал головой.

— И что вы собираетесь теперь делать? Вы хотите пожертвовать собой ради этой несчастной... Арман сказал мне, что она хуже дикого зверя...

— Вы правы, господин кюре, — сказал Тео. — Именно поэтому я и сделаю то, что должен сделать. Прощайте, мсье.

Он быстрым шагом направился к двери, запертой скамейкой.

— Господь милосерд, — прошептал кюре.

Тео вытащил из петель скамью и налег на тяжелую створку — дверь открылась.

Арман первым увидел, как дверь храма открылась и из нее вышел Тео. По правде говоря, Арман скептически относился к Богу и всей этой обрядовости — поклонам, крестным знамениям, молит-

вам, но сейчас, увидев Тео, разглядев его лицо, он вдруг перекрестился. Выхватил из кобуры револьвер и закричал во всю глотку:

— Тревога! Он выходит!

Жандармы повскакивали, хватаясь за оружие, и подались за костры — на всякий случай. В руках у Тео были два пистолета.

Яркий свет автомобильных фар и пламя костров ослепили Тео. В памяти опять всплыл ночной штыковой бой под Суассоном, когда рота зуавов и рота русских легионеров столкнулись в туманной лесной низине с несколькими сотнями немецких гренадер, и сотни мужчин с ревом бросились навстречу друг другу с винтовками наперевес, сошлись, столкнулись, лязгнули и закричали. Они тогда не разбирали, где свои, а где враги. Они дрались вслепую. Вот и сейчас, похоже, ему предстоял бой вслепую. Он знал исход этого боя, но уже не испытывал страха. Как сказал однажды Иван Яковлевич, свободен первый шаг, но мы рабы второго. Не он все это начал, но в его власти все это завершить.

Он шагнул, остановился, сделал глубокий вдох и снова шагнул. Тело его оведал теплый ветерок, голова кружилась. Что-то случилось с глазами: люди и предметы словно пульсировали, окруженные красноватым ореолом.

— Бросьте оружие! — закричал комиссар. — Не стреляйте! Бросьте оружие!

— Купите меня, не то я вам приснюсь! — закричал вдруг детским голосом Тео, вскидывая пистолеты. — Купите меня, не то я вам приснюсь!..

Он выстрелил, потом еще раз, и двинулся вниз, стреляя из двух стволов, и жандармы начали стрелять в него из винтовок и револьверов, первая пуля пробила каску, но лишь чиркнула по темени, а он все стрелял, спускаясь по ступеням к огням, пылавшим внизу, он нес им красоту и ужас, он нес им свою боль, тошнотворный запах сургуча в полицейском участке, Ивана Яковлевича с его железной шапочкой и резиновым шлангом вместо члена, окровавленный слесарный молоток, дурочку Крикри с ее детским

лобком, пахнувшим лавандой, красавицу Минну Милицкую, похожую на освежеванную собаку, Немченко в каучуковых галошах, мясника Поля с жирными губами, мерзкого и невинного Минотавра, пророка Иону в бушующем море, нелепый ботиночек Мадо, петушка в луже крови, детскую коляску на ступенях одесской лестницы, фунт байхового чая и бутылку зеленого ликера, грозную тяжесть броненосца «Потемкин», огненную собаку рыцаря де Мондидье, руку мертвого человека, волхвов, увязших в непроходимых русских сугробах на пути к Младенцу, овечий камешек, стыд, любовь, смерть, свободу, а еще — свое сердце, оба сердца, все три сердца, а винтовочные и револьверные пули пробивали его насквозь, вырывая из спины клочья мяса, но он все еще шел, шагая со ступеньки на ступеньку, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, еще две пули — в плечо и в печень, двадцать третья, купите меня, не то я вам приснюсь, двадцать четвертая, наконец-то, наконец-то, он остутился и упал, каска со звоном скатилась вниз, тело его сползло на булыжник, а ноги остались на последней ступеньке, сердце его было пробито пулями, кровоточащее сердце его остановилось, замерло, умерло, оба сердца, и старое, и новое, оба замерли и умерли, он умер, он затих у подножия храма, огромное тело замерло на стылом булыжнике, и выстрелы стихли, и тогда наконец в благословенной тьме все услышали звук, который, казалось, шел из темной глубины самого бессмертия, и звук этот был похож на стук огромного сердца, и хотя он был мертв и оба его сердца остановились, но третье — третье сердце продолжало стучать и после смерти...

Запыхавшаяся, потная, вся в ссадинах и синяках, Мадо наконец выбралась из подземного хода, без сил рухнула на камни и выплюнула кровь: овечий камень поранил ей

десну. Она закурила, закашлялась, снова сплюнула кровью, языком потрогала камень. Он был горячим, этот странный камень.

Жан-Жак поставил лампу на землю и присел на корточки. Он тяжело дышал.

Луна иногда выглядывала из-за туч, освещая каменистые склоны холмов, корявые черные деревья, пучки жухлой травы. Внизу виднелись какие-то постройки.

— Это ферма мадам Нодье, — сказал Жан-Жак. — Она вдова, сама ведет хозяйство...

— Заткнись, — процедила Мадо.

Было тихо — ни выстрелов, ни шума моторов, ни даже собачьего лая.

Девочка вспомнила лицо Тео, когда он сказал: «Я люблю тебя, Мадо», и сморщилась. Тео больше нет. Она не слышала стрельбы, но была уверена в том, что Тео убили. Их много, а он один, и он не собирался сдаваться. Он сказал, что отвлечет жандармов. Он сказал, что любит ее, этот сукин сын. Лицо ее снова скривилось. Знает, его больше нет, значит, она осталась одна. С этим камнем за щекой. Теперь нужно выбираться из этой чертовой глухомани. Мадо понимала, что ей нельзя показываться в городах, на вокзалах, где ее могли узнать и выдать полиции. Она еще не знала, как доберется до Лурда, где ее ждал брат Жером, но зато знала, что выбираться лучше в одиночку. В одиночку вообще лучше — жить, курить, спать. Особенно спать. В одной постели с мужчиной Мадо никогда не высыпалась. Ну разве что разок, в «Трех петухах», когда она уснула рядом с Тео. Но он ее и пальцем не тронул. И вообще не приставал. Он сказал, что любит ее. Обычно после этого мужчины принимались терзать ее плоть, но Тео только поцеловал ее. Вот черт. Конечно, эти слова ничего не значат, а стоят и того меньше, но он их произнес, собираясь на смерть. Он пожертвовал собой, чтобы спасти ее. Мадо злобно фыркнула. Чертов герой! Подумал бы лучше о чем-нибудь важном, дельном, так нет же, в последний миг он сказал Мадо, что любит ее, этот сукин

сын. В такие минуты не бросаются ничего не значащими словами. Но Тео — таких людей Мадо еще не доводилось встречать. Чокнутый. «Я люблю тебя, Мадо!» Он словно плюнул ей в душу ядом, который еще долго — может быть, всегда — будет мучить, отравляя ее кровь. Он оставил этот камешек, который поранил ей десну. Камень обжигал рот. Мадо перекатила его языком за другую щеку и глубоко вздохнула.

— Что с вами, мадмуазель? — испуганно спросил Жан-Жак.

Она поняла, что у нее вырвался невольный стон, и разозлилась.

— Не твое дело! Сиди там и помалкивай!

Она уставилась на мальчика тяжелым взглядом. Уходить нужно в одиночку. Одна она как-нибудь выкрутится, наврет с три короба, спрячется, украдет, а то, может, пустит в ход нож. Она тряхнула головой. Что-то мешало ей сосредоточиться, но она пока не понимала, что же это такое. Что-то словно подкрадывалось к ней, но оставалось пока незримым.

— Куда теперь? — робко спросил Жан-Жак.

— Подальше отсюда, — мрачно проговорила Мадо. — Как тебя зовут, урод?

— Жан-Жак, мадмуазель.

— Ну да, Жан-Жак... Иди сюда. Ближе. Встань на колени.

— Мадмуазель...

— На колени, урод! — Мадохватила нож.

Жан-Жак растерянно огляделся по сторонам и опустился на колени. Он мог бы запросто убежать от одноногой девчонки, но не стал этого делать. Он опустился на колени и жалобно вздохнул.

Мадо усмехнулась: она знала людей.

— Что вы задумали, мадмуазель? — спросил Жан-Жак жалобным голосом. — Честное слово, мадмуазель, я никому ничего не скажу...

— Я в этом и не сомневаюсь, — с усмешкой проговорила Мадо.

— Да и как вы отсюда выберетесь? — продолжал Жан-Жак, весь дрожа. — За вами гонятся... А я могу достать лошадь. Я по-

прошу лошадь у вдовы Нодье... она даст... иногда она дает каурую, когда господину кюре нужно... мадмуазель, но ведь существует же любовь!..

Мадо посмотрела на него с гадливым удивлением.

— Любовь, мадмуазель, — стоял на своем Жан-Жак. — Ради любви... прошу вас, мадмуазель...

— Любовь. — Мадо сплюнула. — Знаешь, что такое любовь, урод? Это то, от чего болит жопа.

— Но ваш друг сказал, что любит вас...

— Никакой он мне не друг. — Мадо потрогала кончиком языка овечий камешек и поморщилась, как от боли. — Он сам не понимал, что говорит. Любовь... Почему он это сказал? Зачем? Никто не знает. — Она вдруг схватила Жан-Жака за волосы. — И ты не знаешь! Понял, урод?

— Мадмуазель... — Жан-Жак бормотал, не открывая глаз, весь дрожа. — А как же Страшный суд, мадмуазель? Всем нам придется отвечать перед Господом... что вы скажете на Страшном суде, мадмуазель, когда Господь обрушится на нас всей тяжестью своей любви? Когда нам придется платить за все... за все, мадмуазель!..

— Я-то знаю, что я скажу. — В голосе Мадо звучало злорадство. — Я-то знаю...

Она вдруг осеклась, замерла и насторожилась. Она услышала звук. Вот что мешало ей сосредоточиться — этот звук. Он подкрадывался, подползал, приближался со всех сторон. Странный звук. словно где-то вдали и в то же время рядом что-то глухо билось, медленно пульсировало, заполняя низким, негромким гулом пространство, накатывая и отступая, как морская волна, то усиливаясь, то слабей...

— Что это? — сквозь зубы спросила Мадо. — Что это такое, черт возьми? Что это за звук?

— Я ничего не слышу, мадмуазель, — прошептал Жан-Жак, боясь открыть глаза.

— Заткнись!

Облизнув губы, Мадо сунула нож в карман, встала, навалилась на костыли и сделала несколько шагов вниз по склону. Остановилась, прислушалась.

Звук по-прежнему глухо пульсировал, и невозможно было определить точку в пространстве, источник, из которого он шел, накатывая волна за волной, проникая в душу, отступая и снова накатываясь, то усиливаясь, то ослабевая, заставляя сердце биться в унисон с ним, медленно и глухо, и Мадо вдруг снова вспомнила лицо Тео, когда он сказал, что любит ее, чертыхнулась шепотом и двинулась вниз, осторожно переставляя костыли, вжав голову в плечи и сжимая зубами горячий овечий камешек, шаг за шагом вниз, вперед, крепко сжимая камешек зубами, чтобы не выронить, чтобы не потерять этот камешек, потому что ничего, кроме камешка, у нее не осталось, камешка, который обжигал рот, — а звук проникал внутрь, бился где-то там, в груди, вызывая головокружение и тошноту, и не было иного выхода, как только покрепче стиснуть зубами этот пылающий камешек, ее спасение, все, что у нее осталось, все, что удерживало ее еще на краю смрадной пропасти, из жуткой глубины которой поднималось что-то страшное, что-то невыносимо стыдное, чудовищное, необоримое и беспощадное, и стоит ей только разжать зубы, как оно вырвется из бездны, набросится и убьет, если она разожмет зубы или сделает неверный шаг, и тут Мадо вдруг споткнулась и упала, костыли покатались по камням, Жан-Жак бросился к ней, протянул руку, пытаясь помочь, но Мадо отпрянула, она уже не в силах была больше выносить этот звук, разрывавший грудь, она с силой прижала ладони к ушам, зажмурилась, замычала, завопила что-то бессмысленное сорванным хриплым голосом, брызгая кровавой слюной, суча ногами и судорожно вздрагивая, пытаясь перекричать собственное сердце...

— Мадмуазель, — прошептал Жан-Жак, боязливо тронув ее плечо. — Холодно, мадмуазель.

Мадо разомкнула веки, попыталась что-то сказать, но обож-

женный язык не слушался. Она дрыгнула ногой и застонала. Когда Жан-Жак склонился над ней, она обхватила его руками за шею и повисла на нем. Он с трудом выпрямился вместе с нею, прислонил девочку спиной к камню. Из рта у нее вытекла струйка крови.

Жан-Жак принес лампу и костыли.

Мадо вытерла рот рукавом и подняла голову.

Мальчик вздрогнул: Мадо улыбалась.

— Сдачи не надо, — проговорила она наконец хрипло.

— Чего? — не понял Жан-Жак.

— Сдачи не надо, — повторила она. — Вот что я скажу на Страшном суде. Ты же хотел знать, урод, что я скажу, когда придется платить за все? Сдачи не надо, вот и все. Сдачи не надо. Вот что я скажу им там всем. — Она оскалилась. — Ну что уставился? Надо убираться отсюда.

Мотнула головой, поправила лямку мешка, в котором лежал завернутый в чистую тряпицу заветный правый ботинок, и двинулась вперед — *и-раз-два-и-раз-два* — некрасивая, одинокая, бессердечная, вся в синяках и ссадинах, с горячим камнем за щекой, с глухо бьющимся сердцем, которое гнало по жилам отравленную кровь, — вниз и вперед, тяжело налегая на костыли и бормоча на одной ноте:

— Сдачи не надо! *И-раз-два-и!* Сдачи не надо! *И-раз-два!* Сдачи не надо! *И-раз-два-и-раз-два!* Сдачи не надо...

ЛОЧ
ДОМИНО

— Евреи уезжают! — крикнул он в гулкую пустоту дома и снова, так и не дождавшись отклика, вернулся к окну. — Евреи всегда уезжают. Это только мы, дураки, остаемся.

Отсюда ему хорошо было видно, как мужчины и женщины, сгибаясь под тяжестью багажа (теперь это были уже не вещи, не имущество, не рухлядь, накопленная старухой Фирой за сорок с лишним лет жизни на станции, — теперь это был всего-навсего багаж, поклажа беженки, пассажирки, чтоб ей сдохнуть), осторожно пробирались узкой глинистой тропкой к мосту и один за другим шли над ревущей рекой по дребезжащему ржавому железу на тот берег, где их поджидал огромный грузовик. Фира неподвижно сидела на стуле с гнутой спинкой, высившемся посреди двора, среди хлама, брошенного тряпья и каких-то бумаг, которые ветер то разом поднимал стаяй грязно-белых птиц, то швырял по сторонам, лепя к облезлым стенам опустевающего дома, к накренившемуся забору, к черному блестящему дождевику, кем-то брошенному на старушечьи плечи. Она тупо смотрела перед собой, не замечая ни сына, ни его друзей, которые спешили до наступления темноты перенести на тот берег все мало-мальски ценное.

И все это время он стоял у окна, наблюдая за Фирой и за тем, как ее жизнь — вещь за вещь, тряпка за тряпкой, фотография за фотографией — покидает этот дом, сваливается второпях в забрызганный грязью огромный грузовик, чтобы отбыть навсегда, насовсем, навеки, чтобы попытаться прилепиться — где-то там, вдали — к какой-то новой и наверняка чужой для нее жизни. На

одной из фотографий запечатлены первые поселенцы: Фира, ее муж Миша, он — Иван Ардабьев, прозванный за пристрастие к костяшкам — Дон Домино, его названный брат Василий, его жена Гуся, какие-то солдаты, помогавшие им разгружаться на том берегу и перебраться по камням на этот берег, где стояли два щелястых барака. Толстенькую Гусю перенесли на закорках, чуть не уронив в воду, а Фира — с высокой прической, в шелковом платье цвета заката, на высоченных каблуках — перебралась сама, сняла туфли и босиком запрыгала по синеватым горбам, торчавшим из вспененной желтой воды, хотя желающих перенести ее на руках на тот берег было предостаточно. На той фотографии не было ни Алены, ни рыжего полковника, никого не было, только они, первопоселенцы, приехавшие на отмеченную цифрой на неведомых картах станцию, в два щелястых барака. Предстояло еще построить мост, проложить рельсы, собрать бараки для рабочих-ремонтников и — чуть позже — для тех, кто будет работать на лесопилке и шпалопропитке. Тогда. Сейчас. И — вот. Никого. Кто уехал, кто умер и похоронен на небольшом кладбище, устроенном давным-давно на том, другом, берегу, подальше от моста и домов, подальше от живых, которым полагалось работать не покладая рук и поменьше думать о смерти, а если и думать, то не о той, естественной, а о смерти как наказании — за непослушание, излишнюю болтливость или попытку к побегу. Вот — никого. Фира уезжает. Остается только он, старый Ардабьев, и ему уже не с кем постучать костяшками по столу. Да еще Гуся, притаившаяся где-то в гулкой пустоте этого дома и не отзывающаяся ни словом, ни движением. Может, тоже — умерла...

Он надел шапку-ушанку, ватник и спустился к реке, откуда узкая глинистая тропка поднималась к проржавевшему мосту, чей неуклюжий металлический костяк мелко дрожал под напором разлившейся реки.

Поддерживаемая сыном, который вдобавок нес и стул с гнутой спинкой, Фира с трудом передвигала обутые в галоши дрожащие ноги по раскисшей глине.

— Здорово, дядь Вань. — Игорь высморкался, кое-как выколу-пал из нагрудного кармана пухлой куртки пачку сигарет. — Кури. Дон Домино покачал головой.

Старуха Фира бочком присела на стул, обеими руками схватившись за гнилую перилину, тянущуюся вдоль тропинки и напоминавшую о тех временах, когда здесь были надежные деревянные ступеньки, каждый год обновлявшиеся Ардабьевым.

— Нулевой-то все ходит? — подмигнул Игорь.

— А куда он денется, — хмуро ответил Ардабьев.

— Рельсов там нету, дядь Вань, — сказал Игорь. — Ни там, ни там. — Он махнул рукой в сторону поселка. — Ничего нету. Только здесь забыли убрать. Уезжай. Каково тут одному? Да зимой?

Покачав головой, он отшвырнул окурок и помог матери встать.

Дон Домино снял шапку, с трудом изобразил улыбку, показав два ровных ряда блестящих железных зубов.

Фира глубоко вздохнула. Среди коричневых и лиловых пятен на ее морщинистом лице вдруг обнаружился рот, полный бестолково натканных там и сям желтых зубов. Дрожащей рукой она перекрестила Ардабьева.

— Прощай, Иван... теперь — насовсем прощай...

Он осторожно прижал к груди ее легкое, уже почти бесплотное тело.

— Прощай, Фира. — Откашлялся. — Весна — плохое время... Хуже не бывает...

Хватаясь за качавшуюся из стороны в сторону перилину, старуха полезла вверх, то и дело оскользаясь на глине, — сын подхватывал ее, но она отпихивала его локтем и все лезла, лезла вверх, пока не схватилась, наконец, за стальной поручень моста.

— А стул-то! — вдруг спохватился Ардабьев. — Игорь! Фира! Стул забыли! Стул!

Игорь отмахнулся.

Пригибаясь под порывами холодного ветра, они прошли над вспучившейся весенней рекой и спустились по лесенке к машине. Игорь помог матери забраться в кабину. Брызгая грязью, грузовик кое-как развернулся и, надрывно подвывая мотором, пополз по дороге за холмы.

— Рыба, — сказал громко Дон Домино, нахлобучивая шапку на седые лохмы. — Отдупились.

Взвалив стул на плечо, он медленно побрел вверх по отлогому холму к поселку, на краю которого, первым от реки, стоял двухэтажный кирпичный дом, где когда-то жили станционные с семьями, а теперь — Дон Домино да баба Гуся, которая неизвестно в какую щель забилась после похорон и вот уже три дня не откликалась на его зов. На середине подъема Ардабьев в сердцах вонзил ножки стула в грязь и, поплотнее запахнув ватник, уселся покурить. Отдупились. Рыба. Один. Он спрятал огонек спички в огромных красных ладонях и не торопясь прикурил папиросу.

— Вот и евреи уехали, — снова проговорил он, глядя невидящими глазами на затянутые водяной пылью холмы, однообразно бежавшие рыжегато-коричневыми волнами к лесной зубчатке, пилою врезавшейся в низкое, с едва различимыми оттенками голубизны небо, расплзшееся мокрой промокашкой над ржавыми рельсами, над одноколейным мостом, содрогавшимся от непрерывного бешеного напора коричневой реки, над крышами поселка, вернее, над тем, что от него осталось: остовы нескольких товарных вагонов на запасных путях, пакгауз без крыши, станционное здание со стеклянным балконом, выдававшимся над перрончиком, обложенный кирпичом дом Фиры, во дворе которого влажный ветер все носил и носил грязно-белых птиц... Обвалившиеся заборы, стены, опутанные ржавыми проводами поваленные столбы там, где когда-то стояли дома, лесопилка, шпалопропитка, контора, пивная, ремонтные мастерские — все то, что десятилетиями поддерживалось в исправности ради того, чтобы

ровно в полночь туда или оттуда, не снижая скорости ни на повороте, ни даже на грохочущем и стонущем мосту, промчался нулевой — сто вагонов с наглухо задраенными и опломбированными дверями, два локомотива впереди, два — сзади, чух-чух, у-у-у! Сто вагонов. Станция отправления неизвестна. Станция назначения — тайна. Держи язык за зубами. Ваше дело маленькое: чтоб пути были в порядке. От сих до сих. Чик в чик. Так говорил тот полковник, который в первый же вечер собрал их в тесной комнатухе в одном из бараклов. Рыжий и голубоглазый. Как же звали того полковника? Действительно ли он был полковником? Выходит, по армейской мерке — генерал. Чтоб был порядок — и никаких вопросов. Есть вопросы? Никак нет, товарищ полковник. Будет порядок, товарищ полковник. А полковник в этом и не сомневался. Ни разу. Иначе зачем бы он тут? Иначе зачем бы тут все эти проверенные-перепроверенные люди? Уже к зиме саперы выстроили жилье для станционных и рабочих, пакгауз, небольшую мастерскую-временку, водокачку и склады для угля. К весне был готов и мост, чье костлявое тело вытянулось над поймой норовистой речушки и уперлось в вершину дальнего холма, едва видневшуюся среди слившихся в однородную массу деревьев. К концу мая завершили лесопилку, шпалопропитку и пивную. А первого июня — Дон Домино никогда не забывал этот день — прошел первый нулевой.

Мишка Ландау, Фира, Вася Дремухин, жена его Августина, Иван Ардабьев, который позднее получит прозвище Дон Домино, когда научится играть по-настоящему, а еще — за присутствие чего-то цыганистого в лице, «испанистого», как говорила Фира. Кто еще? Ленка Амбарцумян с мужем Рафиком. Да, конечно, полковник со своими людьми, все в тщательно наглаженном обмундировании, в блестящих сапогах, доведенных до шика с помощью раскаленного утюга. Еще — начальник лесопильной конторы Удоев. Лесопильный бухгалтер со своей двухспальной женой, суровой толстухой, которая раз в месяц выбиралась на далекие

станции, чтобы там, подальше от знакомых, развлекаться со всяким, кто ни пожелает, а поскольку желающих было немного, она щедро платила за раз на бутылку, и забуддыги приходили по двое-трое, ибо платила бухгалтерша только за добросовестную работу. Кто еще? Не вспомнить, погасли в памяти их лица, стерлись, как монета, да и не нужны они и память о них. Все они в ту ночь не спали, дрожь била их, они еще и еще раз проверяли, все ли в порядке — ну, слава богу, кажется, все. А это? И это. Тот долгий июньский день и в памяти-то остался только благодаря нулевому. Как и те лица, и слова, и жесты, и утренняя роса на рельсах, к полудню заблестевших жарким серебром, и стрекот кузнечиков в жесткой траве, пахнувшей креозотом, и все другое, все-все-все — было лишь тенью ожидания нулевого. После десяти (солнце только-только начало опускаться за зубчатку лесов) все слонялись по пристанционному пятакчу, нервничали, начинали и тотчас обрывали какие-то пустейшие разговоры, курили, в который раз проверяя складку на брюках и хорошо ли сидит юбка и не скосилась ли стрелка на чулках, и снова прыскались одеколоном и духами, привезенными рыжим полковником нарочно к этому дню, а на крахмальной скатерти во дворе поблескивали узкими боками бутылки и стаканы, стопками высились мытые-перемытые тарелки, пылали охалки пионов, разложенные до поры по стульям, собранным из всех квартир. В половине двенадцатого Фира прошептала:

«Я, кажется, слышу».

«Полчаса еще, — покачал головой муж. — Мерещится тебе, заинька».

Расплывшаяся Августа хватала широко открытым ртом горячий воздух, пропахший креозотом, ваксой и одеколоном, — воздух, который можно было резать ножом. Без десяти у нее начались схватки.

«Символично. — Полковник скорчил гримасу. — Рождение нового человека совпадает с рождением нового пути».

Прибежала пахнущая водкой фельдшерица с лесопилки. Авгу-

сту под руки отвели в больничку. Через пять минут Вася Дремухин вернулся на пяточок, ему налили стакан водки доверху, с горкой, он глотал с закрытыми глазами, захлебываясь, водка текла по подбородку и порезанному во время бритья кадыку.

«Теперь точно, — сказала Фира, бессильно опускаясь на стул. — У меня ноги отнялись, Миша».

Лагдау поднял стул с женой и вынес на перрончик.

«Темень-то, — сказал полковник. — Идет».

Свет разлился над верхушками далекого леса, через несколько секунд над холмами вспыхнула жгучая точка. С равномерным грохотом мчался к мосту состав. Гудок. Грохот оборвался, обрушился под костявое тело моста, снова вынырнул. И вот — яркий дымный свет прожекторов, сливающийся стук колес, маслянистый чугун, тусклая сталь машин, вагон за вагоном, все задраены, опломбированы, пустые тормозные площадки, вой-грохот-пыль, поезд пронесется мимо что-то кричащих людей, забывших про цветы, мимо подпрыгивающих и целующихся мужчин в униформе, и скрывается за поворотом в километре от станции, но еще долго слышно, как он стучит и гроыхает между холмами...

Полковник стоял навтыжку, отдавая честь безмолвному составу, уносящемуся в ночь, и слезы текли по его дважды выбритым упругим щекам.

«Вот, — наконец проговорил он, сглатывая. — Так. Видели? Тот. И чтоб вот так — всегда. Умри, расшибись, убей, если надо, но чтоб этот поезд шел без задержек, без сучка и задоринки, чик в чик. Ясно? — Он повернулся к Ивану Ардабьеву. — Тебе — ясно?»

«Ясно, товарищ полковник, — сдавленным голосом ответил Иван. — Все ясно».

«Твои родители — враги народа, — продолжал полковник, вытирая платком щеки. — Нам это хорошо известно. Но ты за них не отвечаешь. Ты отвечаешь за себя. И за Родину. Ты воспитывался в детдоме. Питание, обмундирование и так далее. Родина тебе верит. Понял? Родина тебе верит — не меньше, а может, даже боль-

ше, чем другим... — Он сделал паузу. — Быть может, больше, чем другим, и быть может, именно потому, что родители твои предали Родину. Ты это понимаешь?»

Иван молчал.

Ему было десять лет, когда отец на глазах у сына застрелил жену, Иванову мать, а потом застрелился сам. Несколько часов мальчик провел в квартире один, спрятавшись в чуланчике за кухней, откуда его и извлекли бывшие сослуживцы отца — чекисты. Уже через неделю сын врагов народа был определен в сиротский приют, но только спустя полгода к нему вернулся дар речи. Он плохо знал родителей, но не потому, что не любил их, — отец все время проводил в командировках, мать — на советской службе. Юркая сухонькая домработница баба Уля вполне заменяла ему семью. Она собирала его в школу, по воскресеньям брала с собой в гости к сестре, работавшей на шарикоподшипниковом заводе, и пока Уля с сестрой и ее вечно сонным мужем пили водку, запивая ее чаем из праздничного самовара, мальчик сидел в комнате без окна на табурете и молча наблюдал за дочкой хозяев, анемичной ровесницей, бесстрастно игравшей в своем углу с тряпичными куклами или бесстрастно же танцевавшей посреди каморки под неслышную музыку что-то вязко-медленное, усталое, и лицо ее становилось умильно-кротким, а худенькие лодыжки, обтянутые нитяными чулочками, дрожали от перенапряжения. Он хмуро наблюдал за девочкой, даже не пытавшейся сблизиться с гостем-«цыганенком», но когда однажды пьяненькая Уля сказала: «Подрастет Катюша — будет тебе невеста», не повышая голоса отчеканил: «Никогда. Чтоб мне сдохнуть, — никогда». Он не хотел жить в комнате без окна. С девочкой в полуспущенных чулках, живущей своей тряпичной-кукольной жизнью под неслышную музыку. Нет. Никогда. Без шуток. Это не его музыка. Быть может, его музыка — это музыка жизни его отца? Но отец выстрелил матери в висок, потом выстрелил в висок себе, оставив сына один на один с этой непонятной жизнью. Он предал сына.

Предал в руки чужих, которые — все вместе — звались Родиной. Родина — это чужие. Потому она страшна, непонятна и свята. Как все чужое. Как он сам — себе. Детдом. Питание, обмундирование и прочее — это Родина. Подъем по звонку — это Родина. Ученье свет — Родина. Приказ — Родина. Расстрел за невыполнение — Родина. Вот этот рыжий голубоглазый полковник — Родина. Самая родная.

«Родина тебе верит, — снова проговорил полковник, но уже без прежней жесткости в голосе. — И я не сомневаюсь в тебе. Запомни. Раз и навсегда запомни. На тебя можно положиться. На тех, кто твоего не испытал, тоже можно, но на тебя — вдвойне. Потому что у тебя нет прошлого. И не надо. У тебя даже настоящего нет. Ты весь будущее. Ты и есть нулевой. Запомни. Больше я тебе таких слов говорить не буду».

Он вдруг круто развернулся и зашагал к накрытому столу. Иван провел ладонью по глазам.

«Ванечка! — позвала Фира нежным голосом. — Ванечка, отчаянный, картошечка стынет!»

Они выпили стоя за первый нулевой, за высокое доверие Родины, за грядущую жизнь без прошлого, за Вождя, за победу, за все-все-все. Никогда еще, наверное, никому из них не было так хорошо.

А символический мальчик у Августы родился мертвым.

Началась просто жизнь. Дежурства. Работа. Будни, выходные, отсыпные, праздники. Все как у людей. Осень, зима, весна, снова лето, в начале которого Фира родила мертвую девочку. Может, тогда-то и начал понемножку сходить с ума Миша Ландау? Или не чокался он? Как посмотреть.

«Мертвое место», — сказал Миша однажды.

Иван неуверенно улыбнулся: с чего бы мертвое?

«Мертвое место!» — упрямо повторил Миша, поправив очки на скользком красноватом носу.

Ардабьев быстро огляделся: рядом никого не было.

«У Августы сын умер, — продолжал Миша. — У Фиры ребенок — тоже. Тоска. Гнетет что-то...»

«Дети — дело наживное, — неуверенно пробормотал Иван. — Один помер — другие народятся. Не всем же помирать. Будут и живые. Человек не дерево какое-нибудь — всюду приживается...»

«Что мы знаем? — сказал Миша, будто и не слышал Ивана. — Что мы про все про это знаем? Ничего...»

«Про что — про это?» — не сразу понял Иван.

«Ну, про эти места... про этот поезд... Один поезд в сутки. Всего один. И все ради него — рельсы, шпалы, разъезды вроде нашего, склады, пакгаузы, ремзаводы, мосты, лесоповал, шпалопропитка, вода, уголь, наконец люди — вроде нас с тобой. И все ради одного-единственного состава. Сто вагонов, четыре локомотива. И чтоб никаких помех и нарушений. Чик в чик. А? — Миша снова поправил очки на потном носу. — А куда он идет? Неизвестно. А что он везет? Неизвестно. Ты знаешь, что он везет?»

«Не знаю, — оказал Иван. — А зачем мне знать? Пусть знают те, кому это положено. Может, уголь. Может, лес. Может, машины какие. Всякое такое, что Родине требуется. Не нашего ума дело, что ей требуется. Наше-то дело принять и отправить. Без сучка и задоринки. Как на железной дороге. Правильно я говорю? А тайна и есть тайна, она не наша».

«Нечеловеческая она какая-то...» — прошептал Миша.

«А какие тайны человеческие? — удивился Иван. — Тайны все против людей».

«Может быть, может быть, — закивал Миша. — Может, это я выдумываю, может, мне просто не по себе... У меня мать, отец, жена... может, мне потому и тяжело, Ваня... А у тебя пока никого...»

«Одна Родина, — осклабился Иван. — Все мое здесь. А если это все — нулевой и ради нулевого, то все мое — нулевой. Какой бы он там ни был. Принять — отправить. Чик в чик».

«Ты меня не понимаешь, Ваня, — вздохнул Миша. — Навер-

ное, это действительно очень странное ощущение... А если он что-нибудь такое везет... — Он сделал жест, словно закручивал гайку своими мягкими длинными пальцами. — Ну, такое, понимаешь?»

«Не понимаю. Везет и везет. Что бы ни вез, ничего от этого у нас с тобой не изменится».

«У нас с тобой — да. А у других?»

«Все это выдумки, Миш. Ты все себе выдумываешь. От того, что он везет и куда, наша с тобой работа не меняется. Смысл-то тот же. А ты... — Иван замялся. — Пить бы тебе поменьше, Миш. Какой из тебя питух, прости господи!»

Папироса давно погасла, но Дон Домино все посасывал ее, машинально сплевывая и прижмуриваясь, словно дым ел глаза. Отсюда ему хорошо была видна разлившаяся река, зябкие ивняки на берегу, что-то белое у ближней опоры моста. Весна. Вот тебе и весна. Плохое время. Все наружу выходит, и доброе, и злое. Все растет, прет из-под земли, и не сразу разберешь, что это там солнцу радуется.

Быстро темнело. Начинался настоящий дождь.

Старик поднялся и зашагал вверх по склону. В доме ни огня. Где же Гуся-то? Неужто померла? Вроде не жаловалась ни на что. Вот Вася — тот да, любитель, тот жаловался не поймешь на что: лопотал и лопотал на своем чудном языке, на котором последние тридцать лет пытался изъясняться с людьми, животными и даже с нулевым, нарочно выползая из своей промозглой каморки на перрончик. Лопотал, лопотал — и умер. Утром Гуся принесла ему кашу, он лежал лицом к стене. Она его потербила, попыталась растолкать, а он уже не дышал. Полон рот жеваной бумаги. Перед смертью принялся рвать страницы из своей заветной тетради. Несколько страниц сжег, потом, видно, спички кончились. Стал жевать лист за листом, да так и помер. Недожеванный лист тор-

чал изо рта, а рот полон бумажной каши. Может, и захлебнулся, как знать.

«Хоронить надо, — сказала Гуся. — Отмучился».

«Надо, — кивнул Иван. — Сейчас и похороним».

Он взялся за пилу и рубанок и даже обрадовался, что выпало ему заняться хоть каким-то осмысленным делом, да еще новым. Покормить корову, задать свинье да курам — рутина, изо дня в день, из года в год. А гроб сладить — все же новенькое что-то. Сладил. Поставил на стол в бывшей аппаратной. Здесь по стенам стояли шкафы с давно молчащими приборами и погасшими лампами, телеграфный аппарат Бодо, на котором когда-то так ловко работала Фира. Работает да еще и болтает с кем-нибудь. С Мишей, мир его праху. Или с Ленкой Амбарцумян, где-то она сейчас, но на всякий случай — и ее праху мир. Или с Удоевым, который, потя и едва успевая вытирать лысую башку, рассуждал — как же, с женой начальника станции разговаривал — о рельсовых фасонных накладках, шайбах Гровера и немецком креплении «К», при котором рельс лежит — будьте спокойны, а что касается пропитки шпал (у лесопильного начальника в подчинении были и шпалопропитчики), то, кроме креозота и хлористого цинка, на этом участке использованы и втулки Колле — будьте спокойны... С кем же еще? С ним же, старым дураком, а тогда — с молодым дурнем Ваней Ардабьевым. Фира, а как называется материя на твоём платье? Шелк же, Ваня. Я тебе привезу. Ох, отчаянный! И смеется, а пальцы бегают по клавишам. Еще болтала и с Васей, мир праху его. Уже — праху.

Он извлек из кладовки бутылку самогона. Гуся соорудила закуску, и после того, как перетащили гроб на санках через мост и зарыли в желтую глину, — выпили, помянули. Молча, без слез.

«Кто-то нас хоронить будет», — вдруг сказала Гуся.

«Вперед меня помрешь — похороню», — пообещал Иван.

«А если ты вперед, так ведь я тебя на ту сторону вряд ли вытащу».

«Что ж, тут зароешь».

Здесь прошла его жизнь, другой и не видал, не было. Да и была ли она вообще? Если газеты читать, то была. Но он газет никогда не читал. И радио не слушал. Зачем? Жизнь — тут. Тут и смерть. Это и есть его мир. То есть мир вообще, со всеми чудовищами и ангелами.

«Уйду я», — ни с того ни сего сказала Гуся.

«Поздно. И куда?»

«Уйду, — повторила она бесслезно. — Холодно здесь, боюсь. Без людей страшно».

Он молча пожал плечами. Куда она, дура старая, пойдет? Никого у нее в том мире нету. Трижды рожала — и трижды мертвых. Всю остальную жизнь проухаживала за ардабьевской дочкой да за самим Иваном. Он ее и похоронит, больше некому, чего выдумывать. Баба мелет. Пусть себе мелет. Горе на труху перемальвает.

Уже на крыльце вспомнил, что оставил стул на склоне холма, под дождем, в грязи. Вернуться, что ли? Да черт с ним. Дался ему этот стул. И зачем только он его взял. Не на память же о Фире. О ней у него совсем другая память, не стульная, не вещная. Кое-как соскреб грязь с подошв, в холодной прихожей скинул сапоги, влез в обрезки валенок. Где же эта Гуся? Громко позвал:

— Гуся! Гуся!

Она не откликнулась и на этот раз.

Ардабьев нашел ее в каморке, где в последнее время жил Вася. Старуха сидела у окна и не шелохнулась, когда заскрипела дверь.

— Ждешь? — пробормотала она.

— Чего? — не понял он. — Чего — ждешь?

— Поезда ждешь?

— Ну и жду. Служба такая.

— Врешь ты, Иван, — со вздохом возразила Гуся. — Не поезда

ты ждешь, а сам не знаешь — чего. Жизни, что ли, боишься? Либо другой какой жизни ждешь? Так ведь не будет...

Ардабьев насмешливо фыркнул.

— Ну-ну, порассуждай. Васька с этого же начал — да чем кончил? Знаешь...

— Так бога ждут или, может, черта... но не поезда, Иван, — продолжала Гуся. — А ты ни в бога не веришь, ни в черта, у тебя — поезд. Нулевой. Тебе и дела нет, откуда он да куда, нужен он или нет, есть он либо давно сгинул. Для тебя и свет-то стоит, пока поезд ходит. Нулевой. — Она зябко передернула плечами. — Никакой. Что за номер такой у поезда? Не бывает...

— Ужинать будем? — спросил Иван, но Гуся промолчала. — Ну, как знаешь.

И вышел, хлопнув дверью.

Сбрендила старуха. Сбрендила. Не прожила жизнь — прожевала. Проспала, продремала. Куда б ни шла, что б ни делала, все что-то жевала, хоть хлеба корку — «рот занять». Глаза полуприкрыты, ни жалобы от нее, ни радости. Такой она стала после второго мальчика, который несколько недель так пожил и успел отравить ее своей жизнью. Надежда — яд. Она и разнадеялась. А он возьми да помри. Думали, и она кончится — так убивалась. Хотела с моста броситься. А потом словно замерла, словно в дрему впала, в спячку: жует, шьет, ходит, варит-парит — и будто спит-подремывает. Когда Алена погибла, она так же спросонья взялась обихаживать Иванову дочку. Вася всех дичился, случалось, никого не узнавал, прогонял ее, вот она однажды и осталась ночевать у Ивана, да так и пошло. Спросонья. То ли баба, то ли сон. Впрочем, не баба. Тут вообще баб не было. Одна Фира. Царица. Женщина. Как Удоев однажды выразился: «Фира Саковна не женщина, она — женцизна. Она вся — женцизм мировой, будьте спокойны». Дурак, а — умный...

Он поужинал холодной вареной картофелиной, куском твердого, как фанера, сала и горбушкой хлеба, купленного с неделю

назад Гусей на Восьмой станции, куда случайно заехала автолавка. Бросил на дно жестяной кружки щепоть черного чая, смешанного с тысячелистником, и залил крутым кипятком из большого алюминиевого чайника, тщательно вычищенного крупным речным песком. Гусино дело. В этом весь ее женцизм: только и хватает, чтоб вычистить посуду, сварить хлебова себе да скотине, постирать да за дитем присмотреть...

Ну а Фира?

У него слегка отвисла челюсть.

В самом деле — а Фира? Чистила ложки-плошки, варила хлебова, ходила за скотиной, без которой на Линии не прожить, стирала да за Игорем присматривала. Все то же самое. И все — по-другому. Эх, бабы!

Ардабьев швыркнул ногой табурет, достал из кладовки початую бутылку и налил себе полную чашку. Понюхал горбушку и не отрываясь выпил. Кинул в рот щепотку соли, прижал языком к нёбу, сглотнул горьковатую слюну и часто задышал. В груди потеплело.

Фиру он увидел на узловой, когда садились в грузовик, который долго вез их к месту будущей их жизни. Невысокая. Иссиня-черные волосы тутими кольцами. Смугловатая кожа. Нижняя губа чуть оттопыривается при разговоре. Низкий голос. Налитые бедра, обхваченные шелком. Задумавшись, машинально накрутила локон на палец и потянула в рот. Муж тронул за плечо. Схватила, заулыбалась. Господи, и такие женщины бывают, ошеломленно подумал тогда Иван. Вот такие, как эта. Улыбчивые просто так. С чуточку оттопыренной нижней губой. Шелковые. Ему вдруг захотелось понюхать ее, обнюхать с головы до ног — господи, едва удержался, а уж так хотелось узнать, чем она пахнет. Не в духах дело. От нее могло и бензином пахнуть. Нет, чем — сама. Сама. Без духов-помад. Голова закружилась, и он схватился за борт грузовика, подпрыгнувшего на колдобине. Фира подпрыгнула на тюке, навалилась плечом на мужа. Все засмеялись. Чем

она пахла? О Господи. Не капустой же. Не луком. Не. «Не» — это не ее, не для нее. Для нее — «да». Не от нее, а — она. Тьфу. Он замотал головой.

«Ты чего, Ваня? — с улыбкой наклонилась она к нему. — Тебя ведь Ваней звать?»

«Иваном, — кашлянул он. — Иваном Ардабьевым».

«И наверное, отчаааянный? — подмигнула она ему. — Что за книжка? Дюма! Боженьки вы мои, он Дюма читает!»

Господи, что она этим хотела сказать? Или — что не хотела сказать? И чем же от нее пахло? Только-только она была так близко от него, чем-то ведь на него пахло, чем-то теплым, тельным — чем? Или у этого запаха и названия нет?

Женщины, которых он успел узнать, пахли капустой. Вареной капустой. Все до одной. Что бы они ни делали, на какие б ухищрения ни пускались. Воспитательница в детдоме, которая вызвала его на допрос из карцера, пахла капустой, щедро политой «Красной Москвой». Она велела ему раздеваться. Он разделся — так полагалось. Она ходила взад-вперед по комнате, роняя слова (драться будешь — вырастешь уродом — ты уже урод — урод из уродов — только посмотри на себя — уродский уродище — смотреть мне в глаза — руки по швам! — Господи, какие швы у голого), его кожа покрылась пупырышками, он дрожал, пальцы заledenели, по каким таким швам держать руки, чего привязалась из-за какой-то драки, — как вдруг она подошла вплотную и взяла рукой, усмехнулась: «Да он у тебя как петушинный клюв». От нее пахло капустой «Красная Москва». В детдоме всегда кормили капустой. В железнодорожном училище мастерица пахла капустой «Кармен». Кастелянша — капустой «Пиковая дама». И только упрямые резиновые девчонки пахли вскипавшим под мышками кислым потом и плохо подтертым анусом, и этот запах был лучше запаха капусты. Деревенские девчонки, привечавшие полусумасшедшего путейца, вырывавшегося из ада рокадных дорог, пахли горячей картошкой. Только не капустой. Осенью они мерзли в полях, вы-

ковыривая из глины кочаны, которые к зиме начинали пахнуть сладко-сладко, тошнотворно, головокружительно. Детдомовец, интернатский, служака железнодорожных войск Иван Ардабьев ненавидел капусту. Капусту и врагов народа. Ими, говорят, были его родители, они исчезли. Осталась капуста, в которой нашла его Родина, пахнувшая вареной капустой и плохо вымытой бабьей плотью, жадной до чужой плоти. Родина. А эта — эта Фира не пахла капустой, не пахла Родиной. И она не была жадна до чужой плоти, ей было довольно мужа, этого очкастого Мишки, доброго умницы, дурившего себе голову смертоносными мыслями. Ей было довольно Мишки, а ему в жизни недоставало лишь одного. Фирры. Эсфири. У него было почти все. Была Родина, верившая ему даже больше, чем тем, у кого в роду не было врагов народа. У него был Девятый разъезд, который они между собой называли Девятой станцией. У него была вареная капуста, бабы, пахнущие вареной капустой, пахнущей дешевыми духами. Был нулевой, тенью которого были все эти люди с их до-нулевой биографией, все эти станции и разъезды, рельсы и гайки Гровора, втулки Колле и солдаты с винтовками, колючая проволока, лютые псы-людоеды, мосты, паровозы, пакгаузы, стой-стреляю, опасность нападения на Линию, семафоры, стрелки с их остями и фонарями, уголь, шпалы, пропитанные креозотом и хлористым цинком, а может быть, и все остальное: реки большие и малые с рыбой и илом, леса и пустыни, города и деревни, идущие в атаку красноармейцы и горящие танки под Берлином, тайны природы, Москва, Кремль, Вождь и вожди, враги народа и их дети, то есть все это ради нулевого, тень нулевого, который есть цель, смысл и вершина, и все это принадлежало ему, Ардабьеву (впрочем, в такой же мере и он принадлежал всему этому), Дону Домино, отча-а-аянному, как она сказала, ему, надежному, верному, сильному, бесстрашно водившему паровозы вдоль линии фронта, под вой авиабомб и разрывы артиллерийских снарядов, — все-все-все, кроме Фирры. Кроме нее. Господи. Когда он однажды без стука, по-соседски, во-

шел в их комнату (тогда они жили на втором этаже общего дома, вместе со всеми станционными, это потом они поселились в отдельном кирпичном домике поблизости) и увидел ее стоящей в крохотном мелком тазике с кувшином в одной руке, а другой она держала высоко поднятые волосы, и солнце из окна просвечивало ее насквозь, и он ясно различил по-птичьи бьющееся ее сердце, дымную массу печени, прозрачный серебряный колокол мочевого пузыря, голубые косточки, плывшие в розовом мармеладе ее плоти, — «Ваня?!» — вот тогда он понял, что ему надо бежать. И бежал.

Тогда как раз на Девятой стали менять паровозные бригады. Запустили ремонтный завод, которым так гордился полковник: продольные сборные мастерские, семьдесят два мостовых крана мощностью от двух до двухсот пятидесяти тонн, сорок пять поворотных кранов у станков, ноль восемь куба воздуха, двести кубов газа и полторы тыщи киловатт электричества для сварочных работ в расчете на один паровоз, такие заводы — только на этой линии, больше нигде, все самое передовое, самое добротное, лучшее из лучшего, чтоб ни сучка ни задоринки, чик в чик. Сменные бригады сходились в большой узкой комнате, пристроенной к боку станционного здания и называвшейся верандой, рассаживались за вылощенным локтями столом и забивали козла. Играли до одури. Командами и каждый за себя. Курили. Кричали. И за полночь расходились спать по баракам или выстраивались в очередь к трем-четырем женщинам, привечавшим приезжих, бабы-оторвы, стервы — будьте спокойны. Мужчины с трехдневной щетиной, усталые, перемалывавшие мощными челюстями все, что ни дадут, и с такой же дикой и равнодушной энергией тискавшие своих стерв-«плечевок», этих пахнущих угарным газом баб с чугунными сиськами, с заклепками вместо пупка и стальной втулкой в причинном месте. На «плече» от Пятой до Восьмой славились Кузя, Стояخالка и Могила, а на всей

Линии — Роза-с-мороза, красавица-татарка, которой домогались не только кочегары и машинисты, но и офицеры охраны, и даже сам рыжий голубоглазый полковник иногда останавливался у нее на Пятой во время инспекций Линии. И вот в эту-то жизнь и ринулся Иван Ардабьев, сперва кочегаром, потом машинистом, и служилые бабы (так они сами себя называли, и так оно и было на самом деле: рядовые шлюхи имели тайные воинские звания НКВД — от ефрейтора до сержанта, а Роза-с-мороза — аж младшего лейтенанта — приказом самого Берия, который самолично отведаль Розиных прелестей и после этого даже захотел остаться на Линии хотя бы простым кочегаром, так что пришлось его вязать прямо в Розиной постели и отправлять в Москву спецпоездом, чтобы вернуть к исполнению более важных государственных обязанностей) — служилые бабы вскоре выделили из череды свинцово-хмурых молчаливых мужчин новенького — рослого, гибкого, нос горбинкой, лицо белое, взор безумный. Он без устали кидал уголь в топку, грохотал костяшками на станциях, глотал мясо из консервов, запивая его ледяной водкой из пол-литровой жестяной кружки, и наваливался на женщин с такой силой и был так неутомим и безжалостен, что вскоре его появления с нетерпением ожидали многие из тех, кто по привычке к уксусу и черствому хлебу продажной любви, к монотонным и скучным упражнениям для мышц спины и бедер, — от него же веяло яростью и неравнодушием насильника, для которого всякая женщина — новая женщина. После его визитов служилые бабы еще долго никого не принимали, отлеживаясь в полутьме своих жалких жилищ и ощущая длившуюся неделями сладостную вибрацию тазобедренного сустава и дрожание жидких внутренностей. Стоялка за три дня до его появления переставала пить водку натошак и с утра до вечера жевала ромашку и мяту, каждый день мылась и до блеска начищала свою втулку в причинном месте, с ужасом предвкушая тот миг, когда сталь раскалится добела от его чудовищного голодного натиска, так что потом придется залечивать рану сырым яй-

цом и содой. Могила с гордостью демонстрировала свою широкую деревянную лежанку, сколоченную из доски-сороковки, пробитую насквозь: «И меня ему мало показалось, черту!» Наконец он добрался до Розы-с-мороза, младшего лейтенанта НКВД, секретного сотрудника, старшую над линейными шляхами, доносившими полковнику даже о тайных помыслах кочегаров и машинистов, — Роза давно поджидала его, раздраженная слухами о его подвигах. За неделю до его появления она легла навзничь и принялась щелкать кедровые орешки, сплевывая шелуху на пол. Чтобы приблизиться к ее ложу, ему пришлось часа два разгребать вороха пустых скорлупок, слушая ее непрерывный смех, шедший прямо из живота и обычно сводивший мужчин с ума. Наутро Роза сказала, глядя прямо ему в глаза: «Не от ненависти ко мне, но от любви к ней ты сотворил это чудо. Я ведь даже не знаю, кто она. Но куда от нее тебе не деться, Иван».

Кидая уголь в паровозные топки, без усталости стуча костяшками по лощеным столам, пожирая холодное мясо из жестянок, глотая ледяную водку, он искал одну-единственную женщину, искал в других женщинах, в их болотистых испарениях, в черных провалах ртов, на чугунных холмах груди, в слизистых лабиринтах влагилиц и в зеркальных небесах их глаз, отражавших только его самого, его ищущий, беспокойный, исполненный жгучей печали взгляд. Он путешествовал по скудным землям тощих блондинок и по тучным равнинам фригидных «двухспальных», по горным кручам бешеных брюнеток и малярным трясинам всасывающей азиатской страсти, — Господи боже, где, думал он, где она, где? Утром он ставил нагую женщину у окна против солнца, но темно и непрозрачно было ее тело. Гаснущий шелк и тугие черные локоны, словно выкованные из вороненой стали, шуршали и звенели в памяти, лишая рассудка. Та же Роза сказала ему: «Сначала ты иссохнешь до костей, потом — до сердца, наконец — до нее. Она не первая твоя любовь и не единственная, она — последняя. — А раскинув карты, выданные из спецбиблиотеки НКВД и

помеченные с рубашки овальным штампом Линии, гарантировавшим высокое качество и нравственную чистоту предсказаний, добавила: — Лучше б тебе ее убить».

Он гонял нулевой от Девятой до Пятой, от Пятой до Девятой, а если требовалось, то и дальше. Но никто никогда не говорил, да и не мог сказать ему, что он везет. Груз. Иногда ночами, пока паровозы загружались углем и набирали воду, он бродил вдоль состава, чутко вслушиваясь, прислушиваясь, пытаясь поймать хоть какой-нибудь звук из нутра задраенных и опломбированных вагонов. Ни звука. Никогда. Вагоны были наполнены молчанием, тишиной, тьмой. Тайной. Никто не отвечал на его вопросы, если он отваживался их задавать. Ни машинисты, ни кочегары, ни охранники, ни станционные. Видимо, они знали не больше, чем он. Столько же. То есть — ничего. И он перестал вопрошать. Да не очень-то и хотелось. Так, словно само спрашивалось. Видно, Миша разобрался...

Гоняясь за призраком в шелковом платье и с локонами кованой вороненой стали, раз или два в месяц он очухивался на своей узкой железной койке в двухэтажном доме на Девятке. Отмывался. Ужинал у Васи с Гусей. Шел в пивную. В клубах табачного дыма мужчины вспоминали недавнюю войну, спорили о достоинствах паровозов, пели протяжные песни и тискали женщин. Ближе к вечеру заводили патефон. Являлись Миша с Фирой. Их ждали, хотя заглядывали они сюда нечасто. Под патефон они исполняли вальс-квадрат. Неуклюжий мужчина с бледным лицом и потным носом, с которого вечно съезжали очки, и невысокая женщина с литыми бедрами, схваченными гаснущим шелком. Прижавшись друг к другу, они медленно скользили в дымном аквариуме пивной. Мужчины молча курили и машинально сжимали кулаки, а женщины незаметно смахивали что-то мизинчиком с ресниц. Женщины знали, что этой ночью мужчины будут чуточку внимательнее и, быть может, даже — нежнее, а под утро, забывшись тяжелым сном, одни вдруг по-детски расплачутся, другие — разу-

лыбаются, — но упаси бог рассказать им потом об этом. Музыка умолкала, люди просыпались и первым делом требовали побольше водки, пили и люто перемалывали огромное количество невкусной дешевой пицци. Миша с улыбкой принимал поздравления и тоже пил водку, мешая ее с пивом. Фира пыталась разговорить Ивана: «Тебя прозвали Дон Домино, правда? Испанец Ваня! А ведь ты и впрямь стал похож на какого-нибудь идалго... Ну а где же твоя Кармен или Дульсинья? Приходи к нам, Ваня, пожалуйста!»

Миша молча напивался, думая о своем. Иван догадывался — о чем. Словно отравился мыслями. Даже когда у них родился Игорь, Миша продолжал думать все о том же — Иван догадывался об этом по выражению Мишиных глаз, по выражению бесконечной тоски, бесконечно умиравшей в красивых Мишиных глазах. Августа корила его: «Какой же ты еврей, если пьяница!» Фира молчала. Страх не оставлял ее.

Вскоре после рождения ребенка они переехали в отдельный дом, построенный нарочно для начальника станции, и устроили новоселье. Фира повела Ивана полюбоваться мальчиком. Ардабьев неуклюже опустился на колени перед низенькой кроваткой и долго вглядывался в лицо младенца. Потом глухо проговорил:

«Как же мне жить без тебя, Фира? Пока-то живу, а вот дальше-то — как?»

Она стояла рядом, от нее пахло чем-то детским, теплым, тельным.

«Я ждала этого, Ваня, — мягко сказала она. — Только дура не заметит, как ты смотришь... Но у меня уже есть мой единственный мужчина. Вот он, Ваня. Считаю, что это моя тайна. Я больше ни на кого не надеюсь. Ни на Мишу, ни даже на тебя. Только на него. Ты прости меня, Ваня».

В жизни Ардабьева та ночь ничего не изменила. Паровозы. Нулевой. Грохот колес, стон металла. Уголь. Вода. Топка. Домино. Консервы. Водка. Бабы. Линия. Чик в чик.

Алену он встретил на Пятой, в пивной, похожей как две капли воды на любую другую линейную пивнушку: квадратный залчик, два деревянных столба-подпорки в центре, стойка, за которой среди бочек с пивом и ящиков со спиртом млела буфетчица в белоснежной наколке и с накрашенными губами, напоминавшими махристый георгин, который буфетчица могла бы держать во рту. Алена с любопытством уставилась на него, и было в ее взгляде странное напряжение, свойственное трудному узнаванию, которое заставило Ардабьева обратить на нее внимание. С нею за столиком сидели двое кочегаров из подменной, во весь голос спорившие, кто первый ляжет с этой женщиной: один кричал, что такое право ему дает порция гуляша, которым он угостил «эту», другой ставил против гуляша стопку водки, которую она хоть и не пригубила, но приняла со спасибой.

«Я, — сказал вдруг Иван, удивляясь тому, что сказал. — Я Спорим?»

Кочегары воззрились на его литые кулачищи, спокойно лежавшие двумя буграми на столе.

«Нет вопросов? Тогда пошли».

Он взял ее за руку и повел в темноту, хотя и не знал, куда ее вести, но и не удивляясь тому, что она покорно ковывает за ним.

«Ногу, что ли, подвернула?» — спросил не оборачиваясь.

«Нет, — тихо ответила она. — Инвалидка я».

И остановилась, выжидательно глядя на него. Он дернул ее за руку.

«Пошли. У тебя хоть койка есть, служивая?»

«Алена я, — сказала она. — Я нигде не служу, и койки у меня нету».

Она так и не смогла связно объяснить, как попала на Линию. Ее привезли. Пообещали работу, хлеб и жилье. Добиралась на перекладных — с паровоза на паровоз. Охрана не трогала. Спала на полу. На каком полу? В сторожке на ремзаводе. Сторож там — добрый старик.

«Ты совсем инвалидка или как?» — вдруг спросил Иван.

«Нога у меня одна короткая. Другая ничего».

«Со мной поедешь, — приказал он. — На Девятую».

Она послушно заковыляла за ним к станции. Иван помалкивал. А чего говорить? Та. Эта. Та или эта. Баба или баба. Та или эта. Какая разница. Никакой. Эта хоть лицом красивая. А нога — что ж. Одна короткая, другая ничего. Алена. Гулена.

«Ты бродяга, что ли?»

«Брожу».

«А что тебя носит? Ищешь кого?»

«Маму. Батяню. Сеструху».

«Где ж они?»

«Не знаю».

«Враги, что ли? Или так пропали?»

«Небось так. Какие они враги. От голода подались. Не враги. Как все».

«А все и есть враги, — вдруг выверился Иван. — Вот и запропали, никто никого найти не может».

Она смолчала.

Утром буфетчица, поджав губы-георгин, презрительно проговорила: «Ну ты и нашел себе! Подобрал! Она ж бродяга. По крови бродяга — с первого взгляда видно. Шавка. Ее от Первой досюда х... прикатили. Ну ты и даешь, Дон, ну и ну. Я-то думала, ты самостоятельный мужчина, а ты... Какие женщины к тебе подкатывали...»

Иван зевнул во всю свою паровозную пасть. «А чего ж ты меня без улыбки провожаешь, Катя?» Она презрительно-недоуменно вскинула жидкую бровь. Он решительно привлек ее за шею к себе, большим пальцем быстро размазал ее помадный георгин от уха до уха и только после этого отпустил.

«Ну вот, — удовлетворенно сказал он, не обращая внимания на хохот мужиков и визг буфетчицы. — Теперь у тебя улыбка что надо».

И недрогнувшей рукой вылил водку в рот.

Всю дорогу Алена сидела скорчившись на мешках, сложенных в тендере на угле. «Ты и правда бродяжка? — спросил наконец Иван, когда впереди показались огни Девятой. — Или врут?»

«Правда, — ответила Алена. — Посижу на месте — и дальше пойду».

Ардабьев покачал головой.

«И против моей воли?»

«И против», — с детской улыбкой кивнула она.

Через неделю она и впрямь ушла, но к его возвращению из рейса притопала на Девятую.

«И где ж ты была? — спросил Иван, поигрывая желваками. — И с кем?»

«Одна. Там».

«Чего ж вернулась?»

«Из-за тебя. Стосковалась».

Он уставился на нее изумленно.

«Меня никто так не любил, — сказала она. — Я знаю. Лучше тебя нету во всем свете».

У него отвисла челюсть.

«Чего-о-о?»

«Ты меня любишь, — невозмутимо продолжала она. — Этим меня не обманешь».

«Я никого не люблю, — проворчал Иван. — Не выдумывай. Любовь...»

«Ты и сам не догадываешься. А я — знаю».

Целыми днями она сидела на холмике у моста. Обязательно выходила встречать нулевой. Сонно помигивая, сидела на лавочке, но, заслышав звук приближающегося по-

езда, тотчас вскакивала и выбегала, прихрамывая, к самому краю перрончика, пугая машинистов, которые для нее давали лишний гудок: поберегись! Налетал поезд — в пыли и грохоте, в гуле и сто- не темного металла, словно притягивавших Алену, которая, вся дрожа, едва держалась на самом краю перрончика, того и гляди шагнет, того и гляди отлетит, отброшенная и изувеченная проно- сящимся составом, клонится и клонится, словно вслушивается, впитывая нечеловеческие звуки мчащегося поезда...

«Там люди, — наконец сказала она. — Люди».

Миша Ландау снял фуражку, быстро отер лоб.

Поезд скрылся за поворотом.

«Какие люди? — проворчал Иван. — Откуда тебе знать?»

Она жалко улыбнулась.

«Я не знаю. Я их чувю. Там люди».

«Какие же люди, Аленушка? — Миша наклонился к ней и заго- ворщически дошептал: — Ээки, что ли? Или кто?»

Иван рассердился.

«А если и люди, то что? Куда их везут? Кто такие? Мы не знаем. Незачем болтать, воду в ступе толочь. Люди так люди. Значит, так надо».

Миша повернул к нему бледное-пребледное лицо.

«Кому надо, Ваня?»

«Почем я знаю. Надо и надо, и все. Может, солдаты, или мужи- ков на стройку везут, или еще зачем... Да что ты на меня так смот- ришь, Миша?! — не выдержал Ардабьев. — Ну подумаешь, сказа- ла дуреха: люди! Ну и что? А если б сказала, что звери, то что? Ни- чего не понимаю!»

«Знаешь, Ваня, что самое странное во всей этой истории? — Миша попытался улыбнуться. — Что я тоже ничего не понимаю. Ничегошеньки. Мне просто страшно, и все. Почему? Убей бог, не знаю. С ума можно сойти!»

А все к тому и шло. Этого-то, как видно, Фира и боялась, и неда-

ром на Мишу так задумчиво поглядывал полковник, приезжая на Девятку с очередной инспекцией.

«Как думаешь, Ардабьев, не сломается этот Ландау? — спросил рыжий однажды. — Что-то уж больно смурной он. Квелый».

«Трудно тут, — уклончиво ответил Иван. — Ребенок у него маленький...»

«И жена красивая, — подхватил полковник. — А?»

Иван отмолчался: на такие вопросы он вообще не отвечал. Хоть исказни.

Приезжая на Девятую, рыжий полковник всегда привозил цветы для Фиры и игрушку для малыша. Если оставался ночевать на станции, вечером заявлялся в пивную и танцевал с Фирой, держась от нее на почтительном расстоянии, что особенно нравилось завсегдатаям: генерал — а уважает...

Рыжий подсел к их столику. Выпил рюмку. Вдруг выяснилось, что он из Саратова.

«Ой, я тоже! — обрадовалась Фира. — Мы жили на Соколовой горе. А помните песенку? По Немецкой трамвай мчится, девка штатна у руля, на ходу нельзя садиться — штраф берется три рубля!»

Рыжий полковник расстегнул верхнюю пуговицу кителя, Фира придвинула ему тарелку с салатом.

«Спасибо, — покачал он головой. — Но ничего не могу с собой поделать: не люблю постное масло. Мама моя на маслобойне работала, дома мыло варила. Черное мыло — знаете? Жидкое. Или же твердое, если добавляли канифоль. Отходы брала ведрами на маслобойне и варила мыло. С той поры и не выношу даже запах этот. Хотя во время войны иной раз ничего другого и не было. Моя зарплата — девятьсот, а кило сала на базаре — тыща двести. А паек — три кило мерзлой картошки на месяц. — С усмешечкой смотрел на Ивана. — А ты думал, энкавэдэшники как боги живут? Эге... Мама масло выносила с завода в желудке. Представляете? Не завтракала, не обедала, чтобы на пустой желудок выпить на

заводе два, а то и три литра масла. Приходила домой и... ну, вы понимаете, как масло извлекалось наружу... не к столу будь сказано... Продавала масло — тем и жила. Меня подкармливала...»

Фира жалостливо наморщилась.

«А цирк, цирк — помните? Который на Чапаева, напротив крытого рынка?»

Полковник кивнул.

«Белорусский борец Иван Калишевич, сто четырнадцать кило! Африканский борец Як Гут! Да... Первым на фронт мой младший брат ушел. Меня служба не пускала. А он — он сразу погиб. Мама его любила... сильнее, чем меня... — Полковник закурил, пятерней взъерошил рыжие свои волосы. — Она все про него какие-то глупости вспоминала... ну, мать, понятно... Соседи кур держали, когда резали, он кричал: зачем курицу сломали! зачем курицу сломали! Своими какашками стены красил... А я свои какашки прятал ото всех, никому не давал... О боже, что я несу!»

Миша переводил взгляд с жены на полковника, и во взгляде его мука мешалась с удивлением: зачем этот человек все это рассказывает? Ну зачем? Ведь тут должен быть хоть какой-то смысл? Какой? Куры сломанные, масло, какашки... Он быстро напивался. Иван с полковником повели его домой. Фира шла сзади, вполголоса напевая: «По Немецкой трамвай мчится, девка штатна у руля...»

Когда полковник ушел, он спросил у Фиры:

«Ну зачем все это? Зачем ты себе-то душу бредишь? Воспоминания, куры, масло... Зачем?»

«А у нас, Ваня, всего имущества — кровь да память».

«У вас?»

«У евреев».

Иногда Иван думал об этом рыжем полковнике. Кто он? Где живет? Кто его жена? Дети? Что он делает? Ну, кроме охраны Линии, кроме выглядываний-подслушиваний, — что? Ведь не просто же так таким молодым полковничьи погоны вешают. Ма-

ма, масло, мыло, куры... Какашки! Сотни солдат, вооруженных до зубов и прекрасно обученных, готовы повиноваться одному его взгляду, а он про какашки! Хозяин. Владыка. Неожиданно появляется и так же внезапно исчезает. Куда? Где логово владыки? Иван знал, что полковник регулярно навещал всех служилых баб на Линии и никогда не отказывался от их услуг. И каждой непременно привозил цветок, иногда — розу. Он никогда не раздевался при женщинах, а утром исчезал незаметно, как привидение. Говорили, что живет он в спецпоезде, состоявшем из трех вагонов — спальни, кабинета и «желтого ворона», вагона с наглухо закрытыми окнами и обитого изнутри войлоком в три слоя. Под полом спецвагонов были устроены стальные съемные емкости, куда собирались стоки, — чтоб не пачкать Линию, как с усмешечкой поясняли подчиненные полковника. «Кровью», шептали всезнайки. Владыка-привидение, ненавидевший постное масло и черное мыло, прятавший ото всех свои какашки и даривший шлюхам цветы, иногда — розы. Вот, пожалуй, и все, что было о нем известно. Может, так и полагалось. Может, ничего больше и не должно быть известно о человеке, который сегодня — владыка Линии, а завтра, если поступит приказ, станет стрелочником на Пятой и будет раз в месяц выгребать кедровую шелуху из комнаты Розы-с-мороза, пока она забавляется с новым полковником. С владыкой. С новым рыжим.

В начале лета Миша исчез. Как всегда, принял нулевой. Как всегда, оттелеграфировал прибытие. Как всегда, пошел прогуляться вдоль состава, пока менялась бригада да набиралась вода. И пропал. Фира разбудила Ивана среди ночи. Они обошли станцию, ткнулись в пивную (закрыта), на ремзавод (закрыт), на лесопилку (закрыта). Куда еще? Ардабьев отправил Фиру домой, а сам еще раз облазил всю станцию, даже в пакгауз заглянул. Постучался к Кузе. Нет, к служилой начальник сегодня

не заходил. А вообще? Женщина сонно ухмыльнулась: «Тебе какое дело? Ты ему жена, что ли?» Ясно. Спустился к мосту. Из будки вылез заспанный охранник. Нет, не видел. Внизу? Так там ключая проволока — раз, две собаки — два. Псы-людоеды, которые никого к себе не подпустят ни за какие коврижки. Подошли. Псы глухо зарычали. «Эти хоть какого генерала слопают, — с гордостью сказал охранник. — С погонами и ливорвертом». Куда еще? Где искать? Одно оставалось. Одно. Но об этом Фира и сама догадывалась, и едва Иван переступил порог, она сразу сказала:

«Я знаю, где он. Он уехал. Он поехал туда, на нулевом. Туда».

«Куда? — устало спросил Иван. — Как хоть это место называется, черт бы его подрал?»

«До конца. Ему хотелось доехать до конца. Посмотреть, увидеть, понять, что там, ради чего все это. До самого конца. Он надеялся, что там он узнает, что в этих проклятущих вагонах. Он поехал туда».

«Ну дурак, господи! — застонал Ардабьев. — Дурачище! Ну а вдруг там нет ничего? Голое поле? Пустыня? Не знаю что. Просто — ничего. И в вагонах — ничего. А?»

Фира затрясла головой.

«Разве так может быть, Ваня? Что-то там есть. Иначе зачем же тогда Линия, зачем нулевой, зачем мы, зачем все это?»

«Не знаю. Может, ты и права. Может, там что-нибудь и есть. Чем черт не шутит? Но точно так же там может ничего не быть, и все равно Линия — вот она, есть, существует, и нулевой ходит, и мы живем, и во всем этом есть смысл, а какой — нам просто неведомо. Как в жизни. Так может быть?»

«Ваня... — растерялась Фира. — Так это ты про Бога говоришь. Ваня...»

«Про какого Бога?» — удивился Иван.

«Так, как ты сейчас про Линию говорил, люди тысячи лет про Бога говорили. А у тебя выходит — Линия...»

Иван взял ее за руку, легонько приобнял.

«Ну Фира. Ну успокойся. Бог, Линия — пусть. Были б мы. Жили б мы, остальное — пусть, пусть...»

Она тихонько заплакала.

«Он устал ждать. Он хотел знать, чего же ему ждать. Он просто устал...»

То же самое сказал и полковник. «Думаю, он устал. А? Просто-напросто устал ждать. Сломался. Иссякло терпение».

«Чего ждать?» — спросил Ардабьев.

Полковник прищурился.

«А разве ты не ждешь чего-то? Разве ты не задаешь себе вопрос: ну — Линия, ну — нулевой, ну — все это, а дальше-то что? Ради чего? Чего ждать от всего этого? Чем все это кончится?»

«И чем?»

«Вот-вот. Это-то и есть единственный и самый главный вопрос: чем все это кончится? Кому-то все равно. Кто-то спрашивает и, не дождавшись ответа, машет рукой: пусть там решают, кому положено, нужно все это или нет и чем все это кончится. Ничем — так ничем. Это даже и лучше, если ничем. Чем-нибудь — пускай, и это переварим, не впервой. Смертью так смертью. Адом так адом. Раем — так раем...»

«И чем?» — снова спросил Ардабьев.

Полковник пожал плечами.

«Не знаю, Дон. Это не мое дело. Есть приказ: Линии быть. А прикажут уничтожить — уничтожим. И для этого все сделано, все приготовлено. Сотни тонн взрывчатки заложены где надо — в опорах мостов, под насыпью, в тоннелях, под строениями — всюду, где нужно. Провода проведены. Повернул ключ — и готово. Все взлетит на воздух, и будет — как будто ничего и не было. Если, конечно, поступит приказ. Это самое главное. Но пока приказа нет. Значит, Линии — быть. И нам тут — быть, исполнять приказ».

Ардабьев недоверчиво уставился на полковника.

«Выходит, все тут заминировано? Выходит, в случае чего тут... — Запнулся, перевел дыхание. — Ну, а с Мишей-то что? Где он?»

«Ландау? А ты как думаешь? — Полковник ткнул его пальцем в грудь. — Как бы ты поступил в таком случае?»

«В каком в таком? Не знаю...»

«Врешь, знаешь. Ты бы поступил как полагается. Ты бы — если бы узнал — тотчас сообщил: начальник Девятого разъезда сбрендил и нарушил запрет. Точка. Потом ты бы снял его с поезда. Наверное, на следующем же разъезде. Или даже раньше. Строго спросил бы его о причинах нарушения. Может быть, ты бы даже ударил его. Сгоряча, знаешь... Но вскоре ты понял бы, что все это пустая трата сил и времени. Этот человек безумен. Потерян для всех и всего: для тебя, меня, даже для жены и ребенка. Для Линии. Ну, допустим, он добирается до конца и узнает, что там, в самом конце. Это, вообще говоря, естественное желание всякого русского человека, тем более — русского еврея, вообще, наверное, всякого человека — знать, что в конце концов. Ну, узнал. Узнал даже, что в вагонах. А дальше? Предположим, в вагонах оказались бревна. Или валенки. Или кирпичи. Ну, не знаю... что-нибудь такое, безобидное... Допустим. Узнал. Что это изменит? Ведь такой человек уже ничему не верит. Он и не поверит, что бревна или валенки во всех вагонах. И ни за что не поверит, что каждый нулевой везет бревна или валенки. Ему все время будет казаться, что уж в следующем составе везут что-нибудь такое... что-нибудь ужасное, дракона или привидения... а может, что-нибудь прекрасное — такое, что способно потрясти и перевернуть мир, ну хотя бы мир одного человека, ну хотя бы мир этого самого Ландау... Но Линии-то зачем это? Зачем Линии конченный человек? А он конченный. Его не вылечить, не исправить, он органически изменился, стал другим. Вместо глаз у него цветы, вместо рук плавники, а вместо сердца подшипник... Чужой. — Полковник

помолчал. — Конечно, его можно отправить куда-нибудь... ну, вернуть в ту жизнь, из которой он приехал сюда. Но ведь он уже отравлен Линией, нулевым, тайной, поэтому он и для той жизни тоже конченный человек. И тогда ты приходишь к единственно возможному решению... — Он испытующе посмотрел на Ардабьева. — Ну, Дон Домино, и к какому решению ты пришел?»

Иван сглотнул.

«Ну да, правильно, можешь даже не говорить. Решение ты принял правильное. Точнее, единственно возможное. Да и этот человек, этот бывший начальник Девятки, тоже начинает понимать, что ничего другого не остается. Он и сам понимает, что это единственный выход. Он же чувствует, что раз и навсегда отравлен этим ядом, который изменил его, сделал чужим, который уже никогда не прекратит своего разрушительного воздействия на жизнь, который постепенно отравит любую жизнь, отравит красавицу жену, отравит сына, и их жизнь превратит в пытку, сделает непереносимой, и вот он уже просит, он умоляет: сделайте это. Не тяните. Ну пожалуйста. Я — я сам — прошу вас об этом. Об одолжении. О величайшей милости. Умоляю. Да. — Он снова помолчал, жуя папиросный мундштук. — Ты прав, Дон, тут уже неважно, кто нажал спусковой крючок. Совершенно неважно. Допустим, он сам. Или кто-то. Например, ты, Дон. А? Какая разница? Это тот самый случай, когда нет ни палача, ни жертвы. Один выстрел — скажем, в висок, да, сюда, а вот отсюда брызги... Судорога жизни. И все. Сам понимаешь, в таких случаях не произносятся речи над могилой. Да и могилу копать в таких случаях — совершенно необязательно. Излишне. Верно ведь, Дон, а?»

И Ардабьев с ужасом понял, что он — кивнул. Согласился. Мышцы шеи натянулись и нагнули его голову. Да, верно. Да, все правильно. Он застонал от боли и унижения.

«Ну-ну, — сказал полковник. — Ну-ну. Все мы люди. Всего-навсего люди. — И после паузы: — А ей пока ничего говорить не надо. Пусть все само погаснет. Понял?»

«Понял, — хрипло ответил Ардабьев. — Нас тут двое... кто телеграфировал про Мишку?»

Полковник долго молчал, глядя Ивану в переносье, пока у Ардабьева не занял болью лоб.

«Ну а если я даже скажу — что это изменит? Уже ничего. Ведь не станешь же ты...»

«Не стану, — мгновенно отреагировал Ардабьев. — Чтоб мне сохнуть. Пусть живет. Мамой клянусь».

«Если я скажу... назову имя, ну, скажем, Дремухина, — то что? — Полковник жестом остановил Ивана. — Или даже назову имя Эсфири Ландау — что тогда? Ну, чего молчишь? Почему она не могла донести? Не могла просто потому, что не могла? А если у нее не было выбора, не было возможности остановить мужа, кроме этой, а? Из самых благородных побуждений? Нет, не от любви, нет, но хотя бы — из жалости к чокнувшемуся жалкому человеку, отцу ее ребенка? — Он снова жестом остановил Ардабьева. — Я ведь могу назвать и другие имена. На Дремухине и на этой женщине свет клином не сошелся, учти. Понял?»

«Учту».

«Да! — вспомнил вдруг полковник. — Клятва-то твоя недействительна, Дон. Ты ведь мамой поклялся, а нету у тебя мамы, Дон, нету. Разве что Родина».

«Родина, — кивнул Дон. — Сука».

Теперь к нулевому в форменной фуражке выходил Вася Дремухин. Сжав зубы и стараясь не смотреть на Фиру, которая с того дня взяла за правило выходить к нулевому, Вася выстаивал положенное время с фонарем и жезлом и уходил, Фира сама отбивала телеграмму о том, что нулевой прошел Десятку. Все нормально. И шла спать. Или что там она делала в пустом доме, где возился в кроватке беспомощный ребенок, тикали на стене ходики, капала вода из умывальника... Она выходила к

нулевому каждую ночь. Зябко куталась в шальку или поплотнее запахивала пальтецо и ждала. Смотрела на Алену, которая, замерев на самом краю перрона, тоже ждала, вслушивалась в темноту, а потом — в грохот проносащегося мимо состава, словно впитывала металлический вой, гром, гул, скрежет и дрожь. Наконец Иван не выдержал и строго-настрого запретил ходить к нулевому: «Хватит там Васи да Фиры, а ты беременная, не дай Бог, что случится, выкидыш там или что. Вон лучше с Гусей посиди. Или спи». Все равно ничего не услышит, ни звука, только душу разбередит, нафантазирует, навдумывает, навпитает этого яда, который меняет человека так, что потом он сам умоляет о смерти: убейте меня, выстрелите — вот сюда, чтоб отсюда — брызги...

Он перешел в ремонтную путевую бригаду. С двумя-тремя обходчиками уходил за мост, проверяя каждый стык, каждую шпалу, каждый болт. Заменить. Подсыпать. Подтянуть. И это. Потом спускались с полотна в лесок, разводили костер, обедали вареной картошкой, молоком, салом с липким кислым хлебом, иногда, если задерживались, в котелке варили кулеш, заправляя его соевым горохом из ржавых жестянок, и кипятили воду с брусничным листом. Вертели самокрутки, курили махорку. Мышей много в полях — к неурожайному лету. Все равно жить надо. Картошку сажать. Сено заготовливать. Грибы сушить. Кабанчика резать. Самогонку варить. Некогда уставать. Да и думать тоже, вообще говоря, некогда. От мыслей устаешь больше, чем от кувалды. Мысли изнутри человека выжигают. Силу выжигают. А надо жить. Это — прежде всего: жить. Остальное приложится. Если оно вообще существует, это самое остальное. Покурив, возвращались на насыпь, снова топали по шпалам. Шпала — двести семьдесят сантиметров в длину. На каждом километре тысяча четыреста восемьдесят восемь шпал. Иногда даже полторы тысячи ровно. Между осями шпал — от пятидесяти шести до восьмидесяти девяти сантиметров. Шпалы передают давление рельсов на балласт и полотно, препятствуют расширению пути и утону рель-

сов, то есть их продольному сдвигу. Лучшие шпалы — из дуба и сосны, но допускаются лиственница или ель. Знай назубок. Вот это и есть знание — сила, то есть хлеб, пища, жизнь. Этим не отравишься, как Мишка Ландау. Этим не бредят и раны — не берут.

Он брался за самую тяжелую работу, чтобы, дотащившись домой, молча сжевать все, что ни даст Алена, доползти до койки и рухнуть в сон без сновидений. Без шелковых женщин с коваными кудрями. Без полковников с какашками и розами для шлюх. Без Линии. Без нулевого. Без. Он готов был вкалывать и по субботам, и по воскресеньям — лишь бы поменьше разговоров, поменьше слов. Лишь бы — молчание. Только молчание. Каждый знает, что ему делать. Не о чем болтать. И незачем. Руки делают. Он перестал заглядывать в пивную. Разумеется, после исчезновения Миши Фира перестала там появляться. Теперь она выходила только к нулевому — зима не зима, дождь не дождь. Постоит, проводит состав взглядом, дождетса прощального гудка — и домой. Здравствуй, Ваня. Здравствуй, Фира. Как сынишка? Слава Богу. Ну и слава Богу. Спасибо.

Когда ему рассказали про Алену, он сначала не поверил. Да не может такого быть. «А ты сам посмотри, — огрызнулась Гуся. — Я разок с ней сходила — больше не могу, нервы не выдерживают, надо ж до такого додуматься, вот упрямая, вот чокнутая, и страха в ней нет, что ли, я бы померла от страха, только от страха одного...»

Он с трудом дождался ночи. Лежал в постели и ждал. Вот она тихонько вылезла из-под одеяла, сунула ноги в обрезки валенок. Набросила ватник. Скрипнула дверью. Выждав с полминуты, он вскочил, наскоро оделся и выскользнул из дома. Только б не спугнуть ее до времени. Она быстро шла, почти бежала по тропинке к мосту. Он не отставал. Вскарабкалась по насыпи на полотно — там, где поворот. Легла. Хватаясь за скользкую траву, он взобрал-

ся наверх и замер, вжавшись всем телом в землю. До его слуха донесся шепот, но слов он не разобрал. Сама с собой разговаривает. Бормочет. А поезд уже вынырнул из темноты и с грохотом мчался по мосту. Выскочил, накрыл распластанное на шпалах тело. Алена. Алена-а-а! Он вжался лбом в сырую землю, открытым ртом, деснами и зубами впился в эту землю. Алена-а-а! Она лежала неподвижно, как мертвая. Он дрожал. Вдруг ослабевшее тело плохо слушалось. На четвереньках подполз к рельсам, позвал. Из темноты донесся гудок промчавшегося через Девятку нулевого. Она шевельнулась. Открыла глаза, открыла рот. Да она что-то говорит! Кричит! Продолжает выкрикивать — «Мама! мама!» — словно брюхо громыхающего состава еще над нею. Мама. Алена. Аленушка, господи, боже мой, девонька моя глупая, да что ж ты вытворяешь такое, ну, вставай, глянь, у тебя лицо поцарапано, залито чем-то, ну, вставай, да, вот так, вот, давай, ну, это я, я, я никому тебя, слышишь, никому, зубами, если что, понимаешь, ей-богу, ей-богу... Он помог ей подняться, и вместе, вцепившись друг в дружку, они кое-как спустились с насыпи к зарослям ивы. Из темноты залаяли сторожевые псы-людоеды. Ты сумасшедшая, разве можно так, ты же беременная, вон уже брюхо какое — колесом, да разве ж можно так, не себя — так дите погубишь, и из-за чего? — из-за безумной фантазии, это же безумие, нет там никакой мамы, родненькая, небось давным-давно померла, царство ей небесное, а если не померла, так живет потихоньку, тебя поджидает, а ты что? Нельзя же думать, будто ее куда-то везут в этом поезде, там вообще не люди, а бревна и валенки, мне полковник сказал, рыжий этот начальник, там не люди, а бревна и валенки, тыщи бревен, миллионы валенок, нет там твоей мамы, нет там никого, не безумствувай... Обещай, что больше туда не пойдешь, ну подумай, разве услышат в мчащемся вагоне твой голос, если, конечно, там люди... Какой же это голос надо иметь, чтобы перекричать весь этот шум, все эти тысячи тонн чугуна и стали, всю эту муку-муче-

ническую нашей жизни? Она посмотрела на него расширенными глазами.

«А разве я звала маму?»

«Кричала: мама...»

«Я кричала: Ваня!»

«Но я же тут, вот он я, это я, Аленушка, живой и здоровый, вот я...»

Он следил за нею. Он держал ее взаперти. Он не выпускал ее из дома. Но ведь он работал. Как лошадь. Каждый день. Это была его жизнь. А ночами ему снилось, будто это он лежит на шпалах под несущимся во весь опор поездом, будто это он хочет, но не может закрыть глаза, будто это он кричит в днища вагонов, вопит, срывая голос и пытаясь докричаться, но утром не может вспомнить, как ни силится, что же за слово он выкрикивал в днища вагонов, кого звал, кого клял? И что это за слово должно быть такое, одно-единственное, чтобы его можно и нужно было кричать — ночь за ночью — в брюхо проносащегося над головой, над лицом, над распластанным человеком поезда? Его трясло при одной мысли о нулевом. Если б он тогда добрался до взрывного устройства, он поднял бы на воздух Линию вместе с загадочным составом, водокачками, мостами, семафорами, рыжими полковниками, псами-людоедами с их потрохами, привычками и мечтами...

На выходе с моста нулевой сошел с рельсов и, громоздя вагон на вагон, сполз с насыпи. К месту аварии тотчас примчались дрезины и грузовики, сотни солдат, пожарные машины. Станционных и близко не подпустили к месту аварии, которое было мгновенно оцеплено солдатами. Люди с помощью мощных кранов и при свете прожекторов бросились разбирать месиво из расщепленных досок, вывернутых шпал, скрученных рельсов, рваного железа — и в самом низу обнаружили одно-единственное тело — Алену. Врачи в спецпоезде извлекли из нее живую девочку. Алена

же умерла, не приходя в сознание. Да и назвать Аленой тот кусок мяса, что сочился кровью на столе в госпитальном вагоне, не рискнул бы, наверное, и сам Иван. Тело.

Пока тысячи ремонтников восстанавливали полотно, рыжий голубоглазый полковник со своими людьми приступил к допросам, и уже к утру Ардабьев знал, что в организации аварии подозревается Эсфирь Ландау. Фира. Во всяком случае, полковник и не скрывал, что подозревают ее. Так. Выходит, это она что-то там подстроила, чтобы поезд махнул с откоса. И как же ей это удалось?

«Ну а кто же? — лениво поинтересовался рыжий. — И потом, никто не утверждает, что это сделала она. Я только предполагаю. Тебе, Дон, это ни к чему. Я тебе верю. Васе Дремухину — тоже. Вы — свои. А у нее — муж. Понимаешь? Ей есть за что мстить — Линии, мне, Родине...»

«Но ведь уже кого-то расстреляли! Или врут?»

Полковник небрежно отмахнулся.

«Это на всякий случай. Если спросят, у нас уже все сделано. Все под богом ходим. Врагов нашли, судили и наказали. Бумаги в порядке. Но поиск справедливости продолжается. Истину ищут. И найдут. Не сомневайся».

Он и не сомневался. Он даже догадывался, почему эту самую истину ищут в доме Фиры Ландау, и так и сказал полковнику:

«Ты б за этой истиной сразу ей под юбку и залез. Разве не там твоя истина?»

Полковник сдержанно улыбнулся.

«А ты помочь хочешь? Ну-ну, не играй желваками, путаный я. Брысь!»

Иван потемнел.

«Меня еще никто на колени не ставил. Понял, полковник?»

«Понял. Есть люди, которых невозможно поставить на колени по одной причине: они с колен и не подымались».

До вечера Иван просидел у Дремухиных. Вася налил водки, но Ардабьев отмахнулся: не до того. Гуся кормила девочку грудью: у нее еще не успело запечься молоко после умершего третьего ребенка. Кормила и смеялась. Ты чего? Щекотно. С ума сойти, как щекотно. Наверное, не было во всем белом свете человека счастливее Гуси. У нее был живой ребенок. Маленький фиолетовый комочек, постепенно розовевший от тепла и молока. Почти что свой. Никто не отнимет. Вот уж кто искренне радовался этой аварии и не вспоминал Алену. Мелькнула — и нету. Как и не бывало. Маленькая женщина с бродяжьей кровью. Всю недолгую жизнь кого-то искала. Говорила, что — маму. Наверное. Может быть. А может, просто — лишь бы бродить. Иван ее притормозил, но не излечил. И теперь она бродит по райским лугам среди других теней. А может, и не по райским. Какая разница. Тот свет — ведь это всего-навсего тот свет. Если — свет. Иван вдруг заплакал. Ему — может быть, впервые — было жаль не себя, но эту бродяжку, эту Алену. Гулену. Словно она, странным образом, осталась в его крови и теперь вызывала жжение, боль, наконец — печаль. Возникла из ниоткуда, ни к чему не прилеплась, ушла в никуда — маленькая, хроменькая, странная...

Каждый вечер в доме Ландау допоздна горел свет. Все знали: полковник допрашивает Фиру. Беседует, по его словам. Ардабьев курил у окна, выходявшего на поселок, и не спускал глаз с Фириных окон. Что там? О чем они там говорят?

«Разве ж непонятно? — пробурчала Гуся, ходившая по дому перевязанная по животу пуховым платком, с малышкой на руках. — Разве ж неясно, чего там? А если неясно, сходи да посмотри».

Как просто. И впрямь: сходить и посмотреть. Он оделся, натянул кепку поглубже и вышел в промозглую сырость осеннего вечера. Начинаясь дождь.

Вошел без стука. В крохотной прихожей горел свет. Пахло ду-

хами и хорошим табаком. Из-под полковничьей шинели торчал язычок ремня. Пистолет. Зачем? Но — взял. Осторожно и быстро проверил: заряжен. Хм. Сунул пистолет за пояс. Постучал. На пороге вырос рыжий полковник. Прищурился.

«Гости у нас. — Пожевал мундштук погасшей папиросы. — Ну-ну. Проходи, раз пришел, Дон».

«А я не к тебе. — Сам почувствовал, что вместо небрежной улыбки получился звериный оскал. — Фира!»

Она сидела за столом. Початая бутылка, тарелки, хлеб, патефонный ящик пылает алыми бархатными внутренностями и влажным металлом.

«Гуляете, — протянул Иван, нервно сглатывая. — Я думал, он тебя во враги записывает, а у вас тут полная дружба...»

«Ваня... — Фира всхлипнула. — Ну что я могу? Ну что мы можем?»

«Мы? — Иван резко обернулся. — Поговорить надо, полковник».

«С огнем играешь, Дон...»

«Поговорить надо».

Полковник набросил шинель на плечи, тускло улыбнулся, глядя на расстегнутую кобуру.

«С огнем играешь...»

Иван легонько подтолкнул его в спину.

«Теперь куда?»

«А вон. — Ардабьев махнул рукой в сторону моста. — Прогуляемся. Давай, давай, времени нет».

«Ты хоть понимаешь, что ты уже мертвый, Дон? С этой самой минуты. Понимаешь? Я ведь даже кричать не стану...»

«И не надо, — оборвал его Иван. — Топай».

Они спустились к реке. Иван вынул пистолет.

«Да ты что, Дон? — рассмеялся полковник. — С ума сошел?»

«Ну да, считай как тебе удобно. — Он поднял пистолет. — Слишком много мы с тобой болтаем».

Полковник стоял к нему боком. Иван целил в висок.

«Но ведь это ничего не изменит, — сказал полковник. — Ты пойми: это ничего не изменит. Линия остается. Нулевой пойдет. А она, эта женщина, все равно мертва. Уже мертва. Как ты. Впрочем, как и я. И ты будешь мертвый, даже если проживешь до ста лет. Или еще не понял? Ты ведь останешься здесь. Ты будешь служить Линии. Встречать и провожать нулевой. Что бы ни случилось. Даже если все остальные передохнут. Пока не прикажут жить иначе. А — не прикажут. Когда-то это понял твой отец... — Он запнулся. — Странно, что ты никогда не спрашивал, почему твой отец поступил так, как он поступил... — Выжидательно помолчал, но Иван все так же стоял с пистолетом у рыжего виска, молча и неподвижно, а в темноте, под дождем нельзя было разглядеть выражение его лица. — Даже она, эта женщина, все это поняла, давно поняла. Тебя нет, меня нет, никого нет, мы все только тень Линии, тень приказа, если хочешь, — тень будущего. Того приказа, о котором многие мечтают, не будет никогда. Потому что такие приказы не поступают по телеграфу, их не привозит фельдсвязь... такие приказы люди отдают себе сами. А ни ты, ни другие на это не способны. Поэтому то, что ты задумал, — бессмысленно. Как и все остальное... Понял?»

«Понял, — сказал Ардабьев и выстрелил. — Еще бы».

И еще раз выстрелил — уже в мертвого.

Грохотал по мосту нулевой, стонало железо, гремел чугунок, гудела Линия...

Иван оттащил полковника к воде и, пока не застыла рука покойника, с трудом втиснул в нее рукоятку пистолета, прижал чужие пальцы к рубчатке. Столкнул тело в воду. Нашел на берегу длинную кривую жердину и что было силы оттолкнул труп. Полковника снесло метров на десять вниз и прибило к берегу. Иван оттолкнул. Труп поплыл, развернулся и снова пристал к берегу. Иван снова оттолкнул. Он шел за ним по берегу, пока тело не подхватило течением. Бросил жердину в воду. Ну и ну. Присел на

корточка, закурил. Километров пять прошел, не меньше. Ну и ну. Никак не хотел отлипнуть от земли, от этого света. Упрям. Как все. Он выкурил папиросу в три затяжки, закурил другую. Мертв. Вопрос только в том, кто мертвее. Хлестал дождь, но Ардабьев ничего не замечал, ничего не чувствовал. Может быть, только усталость.

Он вернулся перед рассветом. Фира спала в комнате, уронив голову на локоть. Вскочила, недоуменно уставилась на Ивана.

«А он где? Где полковник?»

Ардабьев сходил в сарай за углом и щепками, растопил печку, бросил в топку ремень и офицерскую фуражку. И только после этого посмотрел на нее и с огромным трудом выговорил: «Фира...»

Он знал ее. Он знал это тело. Оказывается, знал. Каждую впадинку, каждую складочку, каждую родинку. Он знал, чем она пахнет. Знал все оттенки этого запаха. И даже вкус ее твердых сосков. Этот изгиб руки он обнаружил когда-то у Розы, а эти беспомощно приоткрытые губы — такие же были у Стояхапки. А разве не так же обнимала Кузя, разве не так же ее пальцы пробегали по его плечам и спине? Разве не такой живот был у Лильки с Шестой? А дрожь груди — не Аленина ли? Все верно: она и была — все женщины. Все женщины и еще она сама. Она была хлебом. Ты меня словно ешь, Ваня. Да. Ты люби меня не только телом, Ваня. Да. Вот так. Медленно. Вечно. Всегда. Я научусь. Чему? Тебе. И он учился ей, даже не трудясь запоминать, зазубривать все то, что ей нравилось. Да, вот так. Любимый, вот так. Всегда. Она была всеми его женщинами сразу, их кожей, их запахами, их нежностью, их страстью, их надрывом, их криками и шепотами, всасывающими трясынами и безвоздушными высями, колыбелью, жизнью и могилой.

Обессиленные, они лежали на узкой кровати. Спи, сказал он, усни. Ничего не бойся. Ничего и никогда. Дай, попросила она, вон

там. Это были конфеты, дешевенькая карамель. Она сунула карамельку в рот.

«Дурная привычка. Не могу заснуть без конфеты за щекой. Так вот и сплю — полон рот сиропчика...»

И заснула. Он смотрел на нее и думал, что готов — сейчас же, сию минуту — пристрелить хоть тыщу полковников, генералов, маршалов и вождей, пристрелить и никогда не мучиться совестью или чем там мучаются убийцы. Нет. Никаких мучений. Лишь бы она спала с полуулыбкой на устах, с карамелькой за щекой, с капелькой сладкого сока в уголке рта...

Ардабьев со стоном проснулся. На ходиках было одиннадцать тридцать. Ну да, не мог же он проспять. Вокруг тусклой лампочки с монотонным жужжанием кружила муха. Не спится. Нет, не спится. Дождь.

Старик лежал с закинутыми под голову руками и прислушивался к шуму дождя. Муха жужжит. Дождь жужжит. Где-то там поблескивают в темноте рельсы, так и не заржавевшие по-настоящему: все-таки раз в сутки ржавчину с них сдирали колеса стовагонного состава. И это лучшее доказательство того, что нулевой — не призрак. А ведь говорили. Говорили: призрак. Привидение. Так говорили все и давно. Так говорил Вася после возвращения оттуда, куда не добрался Миша Ландау. Так говорила Фира, плача о теле своем. И Гуся. И дочь — Алена-младшая, удравшая из интерната, чтобы никогда не возвращаться на Девятку, на Линию. Рабочие с лесопилки, заводские ремонтники, обходчики, охранники — все в один голос твердили: нулевой — призрак. Открой глаза, Дон. Ну же, Дон, взглядишь хорошенько, постарайся же, старина, это всего-навсего ветер мчится над бескрайней равниной, всего-навсего ветер из России, страны призраков, потерянных детей, утраченных матерей и отцов, мертвых возлюбленных, предателей и безумцев, ветер с Родины, пожравшей своих

детей, ну же, Дон, или вся твоя ярость, вся сила твоя, о которой и доныне вспоминают женщины, догнивающие на заброшенных разъездах времени, — все это обратилось против тебя? отравило тебя, изъело ум, душу, сердце? опьянило, свело с ума? Ну же, Дон! Брысь, черти. Брысь! Его еще никто не ставил на колени. И он не так уж и стар, он еще отличает черное от белого, явь от сна. Он еще отлично понимает что к чему. И его ожидание сильнее бесов, сильнее живых и мертвых, сильнее памяти и забвения...

Он берет фонарь и жезл и, набросив просторный дождевик, выходит в темноту, под проливной дождь. Всюду вода, все течет. Течет. Клокочет, ярится река, брызгая пеной на низкие берега и закручиваясь грязными спиралями вокруг мостовых опор. Тяжелой льдистой массой падает и падает с неба дождь. Весна. Самое плохое время года. Нет ничего хуже. Под навесом он выкуривает папиросу. Зажигает фонарь. Если б не нулевой, его кости давно гнили б на холме за рекой. Навес прохудился, перрончик обрушился, строения станции обвалились, на пути выросла сорная трава в пояс, семафоры поникли, провода повисли, столбы где упали, где покосились... Но мир еще не погиб. Дудки. Мир пока стоит, держится, сшитый Линией и пробуждающийся всякий раз, когда, вот как сейчас — чу! — возникает в этом небытии нулевой.

Он поднял фонарь.

Вдали вспыхнул яркий свет. Стрекочет, воеет, мчит — нулевой. Вот он с грохотом проходит по зябко дрожащему мосту, выскакивает на поворот и прет к разъезду — у-у-у! — и с невыносимым ревом, в стоне металла и клубах едкого пара пронесется мимо. Два паровоза впереди, сто вагонов, два паровоза сзади. Как часы. Чик в чик. Без сучка и задоринки. У-у-у! Скрывается за поворотом. И это — призрак? Бред? Иллюзия? Э, парни, что-то не в порядке с вашими мозгами, с вашими изъеденными плесенью душами, с вашими разлохматившимися от долгого употребления нервами.

Придерживая на груди дождевик и светя фонарем под ноги, он спускается по кирпичной осыпи с перрончика и направляется к крыльцу. Внезапно останавливается. Оборачивается. Прислушивается. Что за черт? Не может быть. Он возвращается на перрон и для чего-то поднимает фонарь. О господи. Из темноты на мост вылетает состав, набегает на Девятку, проносится мимо с оглушительным гудком, в водяной пыли и едком паре. Два паровоза впереди, сто задраенных и опломбированных вагонов, два паровоза сзади. Ардабьев ставит фонарь у ног. Что-то тут не так. Что-то случилось. Откуда взялся второй нулевой? Такого еще никогда не бывало на его памяти. А его память и есть история Линии. А? Опять? И опять из темноты с протяжным гудком выскочил на мост состав. Четыре паровоза, сто вагонов. Проседают под тяжестью шпалы, стонет железо, гудит чугун. Откуда он взялся? Его не должно быть. Нет. И того, третьего, и этого, четвертого, — их не должно быть. Пятого тоже. Паровозы. Вагоны — шестьдесят четыре тонны — сто двадцать кубометров — тайны в каждом. С навеса упала черепица, но из-за шума проходящих поездов Иван не расслышал, как она разбилась. Осыпается перрончик. Из-под шпал — фонтанчики жидкой грязи. Паровозы, вагоны, паровозы, вагоны...

Что-то тут не так.

Что-то-тут-не-так-не-так-так-так...

Упала дверь в аппаратную. Давно не горят лампочки, недвижны стрелки приборов, покрытых густым слоем грязи и пыли, молчит аппарат Бодо. Только осколки стекол дребезжат в рамах да раскачивается под потолком патрон без лампочки.

Нулевой бесконечен.

Что-то тут не так.

Он все-таки пойдет домой и попытается заснуть по-настоящему. Нервы. Обогнув здание и едва сдерживаясь, чтоб не припустить бегом, он поднялся на второй этаж. В кухне горел свет.

— Гуся! — крикнул он. — Гуся!

Тишина. Потом где-то в глубине дома послышались шаркающие шаги. Остановилась за дверью.

— Гуся, — позвал он громким шепотом. — Слышишь? Это поезд?

— Чего тебе? — наконец откликается она. — Какой такой поезд? Ложись-ка, поздно уже.

Шарк-шарк — уходит.

— Гуся! — кричит он во всю силу легких. — Черт бы вас всех позабрал! Ведь это поезд! поезд! поезд!

В ушах звенело. Стучали колеса. Стонал металл. Грохот сотрясал дом.

Он залпом выпил самогонки, бросил в рот щепотку соли, прижал языком к нёбу. Ну, спокойно. Ну, это нервы. Он еще жив. Там Гуся — тоже живая. В сараюшках — корова, свиньи, куры — живые. Ну же, спокойно. В груди потеплело. Он выпил еще, но уже без нервной жадности, чуть ли не с удовольствием, не обращая внимания ни на шибящую сивуху, ни на перестук колес за окном. До утра бы дожить. Доживем. А живы будем — не помрем. Нулевой так нулевой. Поезд так поезд. И что в нем? Металл, дерево — и все. Идет себе — и пусть идет. Так надо. Надо так. Так-так. Тук-тук. Всего-навсего поезд. Эка невидаль собачья. Каждые сутки, пора бы привыкнуть, давно без цветов встречают, давно нету тех, кто тогда встречал с цветами первый нулевой. Кто помер, кто уехал, ушел, уполз. Он остался один. Один человек на этой одной земле. Гуся и скотина не в счет. Теперь он по-настоящему один и по-настоящему одинок. Гуся считает его чокнутым. Она привыкла жить с чокнутыми. Вася чокнулся, Дон Домино чокнулся. Конеч. Черта с два. Может, он и один, но это как раз тот случай, когда только один и может быть в поле воином. А пока он воин, пока жив, — жив и нулевой, жива Линия, Россия жива, мир — жив. Так-то вот. И так и будет. Даже если у него ничего не останется, кроме крови и памяти.

Не зажигая света, пробрался к кровати, лег поверх одеяла. На

столе смутно белела Васина заветная тетрадь, которую он не успел ни сжечь, ни съесть. Надо бы посмотреть, что там. Тогда Вася сказал: «Я все расскажу, Иван, все, я запишу все, что видел... если это возможно, если получится... это страшно, но я — должен, иначе зачем же я там был, зачем жил... — Его измученное сдобное лицо тряслось, соломенные брови и клочок желтых волос, висящий посреди залысого лба, подрагивали и клонились долу. — Пусть дети и внуки содрогнутся, пусть внуки и правнуки, и праправнуки... и их дети... Иван, там одни дети и женщины... то есть вообще ничего и никого, но это и есть дети и женщины, понимаешь, как бы это объяснить...»

Ардабьев ничего не понимал. Перед ним сидел бессвязно бормотавший, одичавший, небритый, в рванине человек, которого он с детдома привык называть своим братом. Братаном. Спали рядом. Дрались, отбиваясь от чужаков, спиной к спине. Тискали одних и тех же девчонок-подружек-сестричек, потом еще смеялись: стали молочными братьями, одну девку трахнули, ха-ха, вконец породнились. Вместе вкалывали на фронтовых железных дорогах. Вместе сюда попали. И вот — опустившийся, с болезненно блестящими глазами, в рванине — сидел перед ним Вася, добравшийся туда, куда не смог добраться Миша Ландау. И что? А ничего. Бред. Бессвязный бред. А у него уже в кармане телеграмма о назначении начальником разъезда: Иван Ардабьев — Дон Домино — начальник. Начальник Девятки. Васю скинули со счетов, но за ним никто не приезжал, никому он не был нужен, никто не боялся его безумия и того знания, которое он добыл ценой разума. Что же это за знание такое, черт возьми, если оно одного заталкивает в смерть, а другого... а в другом уже никого не пугает? Какая ж ему цена? Безумие? И все? Теперь он, Ардабьев, хозяин этой горсти домов, барачков, станции, лесопилки, ремзавода. Старший. Главный. Владыка, которому — все равно. У него никого не осталось, кроме Аленки-младшей, попискивавшей на руках у Гуси, да Фиры.

Тем утром Фира попросила увезти ее с Де-вятки. Она стояла в маленьком тазике нагая, и солнце просвечивало ее насквозь. Он сказал ей об этом.

«Правда? — радостно засмеялась она. — Ты не сочиняешь, идальго?»

Нет, конечно. Он рассказал ей о ее сердце, бившемся птицей, об ажурной пене легких и дымной печени, о серебряном колоколе мочевого пузыря и тонких голубоватых костях в прозрачном розовом мармеладе плоти...

«Все испанцы лжецы, — сказала она. — Увези меня отсюда, Дон. Уедем. Мне страшно. Я боюсь — боюсь всего: Линии, нулевого, этих сырых людей и сторожевых псов-людоедов, боюсь мертвых, а больше всего боюсь себя... Увези, ну, в Саратов, поселимся на Соколовой горе, с нее далеко видно — Волгу, город, Елшанку... Или куда хочешь, только бы — отсюда. Ну пожалуйста, Дон, идальго, увези меня отсюда, здесь смерть, смерть, смерть!..»

Он растерялся. Уехать? Как это — уехать? А станция? А нулевой? Только здесь существует что-то такое, что он мог назвать своим. А там, куда она звала, там нет ничего, выдумка, сон...

«Неправда! — закричала она жалобно. — Сон и выдумка — здесь! Ваня, все вокруг — бессмыслица, чушь, абсурд, ничто. Какой смысл во всем этом? Никакого смысла!»

«А зачем он нужен, смысл? — Он взял ее за руки, прижал к себе. — Смысл только в нас, в тебе и во мне, и если мы так думаем, нет ничего другого, и смерти нет...»

Он так и не отважился спросить у нее о Мише. Одеревеневал язык. «Фира, ты посылала донос полковнику? Это ты сделала, Фира? Зачем ты его сделала? Ты хотела помочь Мише?» Так и не спросил. Даже и не пытался. Слова эти скапливались внутри него, затвердевали, вызывали боль, но наружу — наружу он их не выпустил. Потому что она могла сказать: «Да, это я». И как бы он потом жил?

Рыжего полковника искали. Долго и тщательно. Следователь с плоским утиным носом и глазами, место которых на его лице было невозможно определить с первого взгляда, допрашивал всех подряд — станционных, охранников, рабочих, служилых. Он делал это с такой бесстрастностью и методичностью, что невольно возникала мысль: допросив людей, он так же спокойно перевернет страничку своего блокнота и перейдет к допросу рельсов, шпал, паровозов, птиц небесных и рыб речных. Кто его видел? Кто его видел последним? Куда он пошел? С кем разговаривал? О чем? Солдаты обыскивали каждый дом. Лесопилку. Ремонтный завод. Водокачку. Пивную. Заглядывали под кровати. В подвалы. В колодцы. Обшаривали реку. Хоть какой-нибудь след. Хоть что-нибудь. Окурок. Запах. Звук. Отзвук. Эхо. Рылись в печной золе, которую большинство жителей выбрасывали на огороды или на тропинки за домами. Вот в золе-то и обнаружили две пуговицы от форменной фуражки, ременную пряжку и кокарду. Так. Это уже что-то. Может быть, это принадлежало ему. Может быть, и нет. Все может быть. Но это уже след. Зола. Чья? Из чьей печки? Проверяли каждую печь. Каждую. Просеяли золу. Снова и снова. Сравнивали образцы. Снова и снова. Допрос за допросом. Слово за словом — просеять, сравнить, поймать. Враг рядом. Он будет настигнут и схвачен. Да, результат известен: враг есть. Осталось чуть-чуть: выяснить его имя. Только и всего. Но — во что бы то ни стало. Имя. Дремухин. Ландау. Ардабьев. Удоев. Амбарцумян. Кто?

Иван успокаивал истерзанную допросами Фиру: «Только не бойся. Покрутятся и уедут. Но только не бойся. Они идут на запах страха. Как собаки».

«Но нам теперь не удастся уехать, Ваня. Нас не выпустят отсюда, пока не найдут убийцу. Пока не найдут нас».

«Выброси это из головы. Мы ничего не знаем. Ищут кого-то. Пусть ищут. Наше дело — помогать, отвечать на вопросы. Помогать так, чтобы нас не нашли».

Он был на Линии, когда ее увезли. Гуся встретила его на пороге с Игорьком, Фириным сынишкой, и он сразу все понял.

«Давно?»

«В обед. Посадили на свой поезд и уехали. То ли на Восьмую, то ли еще куда, нам не сказали».

«А она?»

«Что она? Вот Игоря привела».

Он развернулся и зашагал к мосту.

«А если ее не на Восьмую повезли? — закричала вслед Гуся. — Так и пойдешь до Первой?»

Он не обернулся. Пойдет, конечно. Хоть до какой. Он дойдет. Он скажет: «Вот я. Это сделал я. Я. Отпустите ее. Единственную в мире женщину, у которой тонкие косточки млеют в розовом мармеладе плоти. Это не она. Это я сделал. Вот я». Сколько там до Восьмой? Триста километров? Ничего, он осилит. Он дойдет. Собой будет питаться, а дойдет. Не может не дойти. Не обращая внимания на ледяной ветер и проливной дождь, он упрямо топал по насыпи в сторону Восьмой. А если надо, дойдет до Седьмой. До Шестой, до ада, до рая — докуда угодно. Мясо кончится — на костях доползет.

Утром его подобрали обходчики. Он полз на брюхе по шпалам, бормоча что-то невразумительное. У него был жар, он бредил, никого не узнавал. «Фира — Фира — Фира... Фи — ра. Ф — ира. Фир — а. Божемой. Бо. Же. Мой». К вечеру он впал в забытье.

А через неделю ее привезли на дрезине. Сторбившаяся, в старушечьем платке, платье небрежно подоткнуто, колени сбиты в кровь, ноги перепачканы углем и мазутом. Кое-как слезла с дрезины, доковыляла до дома, забрала Игоря. Гуся схватила ее за рукав: «Пойдем, Фиранька, я тебе хоть горяченького налью, родненькая...»

Покачала головой: нет. «Нет, спасибо». Ушла. Заперлась в своем доме. Вечером не зажгла свет. Гуся стояла у окна с Аленкой на руках. На постели метался в горячке Иван. Ни жив ни мертв. Ему

мерещились женщины — с нестирающимися животами, чугунными грудями и заклепками вместо пупков — зачем, зачем, господи? Они отталкивали Фиру, Гусю, Аленку, они ложились рядом, их тела были огромны, они мешали дышать, они мучили его. Роза-с-мороза, лузгая кедровые орешки, говорила певучим своим голосом: «Ты убей ее, ничего другого тебе не остается — только убить. Возьми руками за шею, надави локтями на грудь, погаси внутри нее лживый огонь, который делает ее прозрачной. Это ложный огонь. И все в ней ложь. Она прячет тайну, обманывает тебя, убей ее, и ты будешь свободен и один, будешь счастлив так, как может быть счастлив только мертвый...»

Гуся стояла у окна с Аленкой на руках, шевелила губами. Вася со стоном качал головой, мотая клоком соломенных волос, свисавшим с середины лысины: «Уйду, не могу я так больше... уйду к черту... уйду...» И ушел, пока Иван был в беспамятстве. Ушел же.

Когда Иван очнулся, Гуся сказала: «Иван, Васька-то — ушел». Ардабьев тотчас понял — куда. Здесь все уходило в одну сторону. Туда. Что ж, на этот раз — Вася, отравившийся тем же ядом, что и Миша Ландау. Что и все они тут. Яд. В воздухе он, что ли. В пище. В воде. В веществе мысли, возникающей только тут. Вася, робкая скотинка.

Он был слаб, каждый шаг давался с огромным трудом, мучила одышка, словно за время болезни сердце обросло толстым слоем сала. Оторвал от забора горбылину, оперся — легче стало. Воздух, сухой и холодный, выжигал легкие. Через каждые пять-шесть шагов останавливался. Голова кружилась. Наконец добрал. Постучал. Еще раз — горбылиной. Тишина. Вошел, громко стуча палкой. Толкнул дверь и зажмурился от яркого солнечного света, мощным потоком лившегося в окно. Фира стояла в тазике, с бессильно опущенными руками, с разметавшимися по смуглым плечам седыми волосами. Наверное, она все поняла по выражению его лица. А может, и сама почувствовала, что тело ее утрати-

ло прозрачность. Тело как тело, темное, из непрозрачного мяса, как у всех, не хуже других.

«Я все знаю, Ваня, — сказала она устало. — Ты не виноват, Ваня. И я, видишь, жива».

«Фира...»

«Нет-нет, Ваня, теперь все. Это все. Конеч. Уходи, пожалуйста. Совсем уходи. Меня больше нету, Ваня. — Она не плакала. — Они из меня другую сделали. Знаешь как? Хочешь — расскажу. Нет? Конечно, я и сама не хочу. Шестнадцать человек. Их там шестнадцать человек. За пять дней и ночей они и сделали из меня другую. Не твою. Чужую. Я сама себе чужая. Уходи, Ваня, — больно».

И руками прикрыла грудь.

Этот жест — руками прикрыла грудь — Иван запомнил навсегда, потому что именно тогда он и понял, что все действительно кончилось. Хватая ртом воздух, бестолково тыча вокруг себя горбылиной, он ушел, вернулся к себе, лег, потерял сознание, провалился. Очнувшись, вспомнил ее потемневшее, поцарапанное тело, этот жест — руками прикрыла грудь — тоже вспомнил, и снова впал в забытие. И сколько раз это повторялось. — Гуся счет потеряла. Вернувшийся Вася сидел у его постели, тряс небритым лицом и плакал: «Ваня, там одни женщины и дети. Ваня, там ничего нету, и это и есть женщины и дети...»

Придя в себя, Ардабьев тщательно выбрился, коснулся пальцем вертикальной складки на лбу: вон какая, и хмуриться не надо — само хмурится. Получил телеграмму о назначении начальником Девятого разъезда. Приказ есть приказ. Выждал несколько дней — но за Васей так и не приехали. Никому не нужен. И никого не пугает добытое им знание.

«Что же ты там видел?» — холодно поинтересовался Иван.

Вася заплакал, прижимая к груди толстую тетрадь.

«Ваня, я все, все запишу, если бумага выдержит. Я могу не выдержать... только б бумага...»

«И про Мишу тоже напишешь?»

Но Вася его не понял. Или не захотел понять?

Целыми днями он сидел в своей каморке, скрипел карандашом. Что ж, пусть себе пишет. У него всех дел — писать. А у Ивана своих — невпроворот: разъезд, дочка, мост, нулевой... Люди всякие. Вон там Удоев живет-дрожит. Вон там лесопильный бухгалтер со своей «двухспальной». Вон там телеграфистка Эсфирь Ландау с сынишкой. Гвоздями заколотила входную дверь, пользуется черным ходом, через кухню. Что ж, человек имеет право на причуды. А главное — нулевой. Жизнь. Это не Васино дребезжащее бормотанье, не его ужасы, вскрики и всхлипы. Людей не узнает. Жену прогнал. Не плачь, Гуся. Жить надо. Той же ночью Гуся покорно прибрела в его спальню, разделась, стараясь не пыхтеть. Ну, что? Приглашения ждешь? Ложись, спать пора. Легла. Жизнь. Могила. Женщина существо слизистое. Та или эта, без разницы. Разница только в том, что одна засыпает, всхлипывая и бормоча и прижимаясь горячим бедром к мужчине, а другая — затихает с полуулыбкой на устах, с карамелькой за щекой, с капелькой сладкого сока в уголке рта...

Путевое хозяйство — мост — станция — телеграф — водокачка — уголь — лесопилка — ремзавод — пивная — нулевой. Такая жизнь. Но нулевой уже не останавливался на Девятке: почему-то отпала необходимость в замене бригады, не набирал здесь воду и уголь. А однажды среди бела дня пришел короткий состав из пассажирских вагонов, в которые погрузились лесопильные со своим жалким скарбом и детьми — и отбыли. Затем рабочие с ремзавода. Разобрали машины на лесопилке, разобрали мастерские, краны и станки, погрузили на платформы, сами попрыгали в пассажирские — и исчезли. Бывай, Дон. Может, когда-нибудь где-нибудь и забьем козла. Может быть. В раю. В аду. А может, и не забьем. Скорее всего — нет, незачем себя обманывать.

Последними снялись охранники. Их начальник повел Ардабьева на мост и показал люк.

«Тут лесенка вниз, на площадку. Там дверца. Там и заряд. Понял?»

«Пока нет».

«Мало ли, вдруг приказ поступит. Тогда все тут подорвешь. Если, конечно, доживешь».

«Чем?»

«А тебе что же, и ключа не дали?»

«Какого ключа?»

«Ну дела. Да что ж тогда говорить. Само сгниет. А у нас приказ. Тебе еще не отстучали?»

«Этот приказ я сам себе отстучу».

«Ну ты даешь, Дон. Шутник, Дон. Прощай, старина».

Само сгниет. Сгниет. Кроме собак. Брошенные в спешке людьми, псы-людоеды завыли и выли не переставая несколько часов. Сперва он даже не сообразил, что это за звук. «Что с ними делать? — сказала Гуся. — И подойти-то страшно». Дочка плакала, сбегав к мосту: «Они там на привязи, лают, никого не подпускают...»

Он взял ружье, спустился к колючей проволоке. Псы замолкли, насторожились, увидев человека с ружьем. Два матерых зверя. Людоеды. Кормили их от пуза. Матери пугали детей: «Будешь себя плохо вести — псы мостовые сожрут». Поговаривали, что полковничьим спецпоездом этим зверям иногда доставляли спецмясо. Кто-то клялся, что своими глазами видел, как собака грызла женскую руку со следами колец. Ну и ну. У него нет людей на закланье. Разве что себя им предложить. Ему их просто не прокормить. Вскинул ружье. Ближайший пес подпрыгнул на цепи и брякнулся брюхом в траву, задергал лапами, пополз на боку за будку. Иван едва успел всадить в него вторую пулю. Вдогон. Другой зверь вжался в траву и ложбинкой ушел за будку. Обе пули

прошли мимо. Ардабьев расщипал. Притащил из дома кусачки, порвал колючую проволоку, но не успел и шага сделать, как пес молча бросился на него из укрытия. А когда человек отпрыгнул и схватился за ружье, зверюга прежним манером скрылась в ложбинке. Он сел на кочку, закурил, положив ружье на колени. Рано или поздно выглянешь. Выберешься. Голод не тетка. Прибывшую дочку попросил принести какую-нибудь кость. Принесла. Девочку он отослал домой: не годится ребенку наблюдать за такими играми. Бросил кость точно на середину проплешины, вытопанной собакой перед будкой. Пес выглянул, но тотчас спрятался. Завыл. Снова выглянул. Спрятался. Так продолжалось несколько часов. Ардабьев поднялся на мост, но оттуда было далеко. Спустился на мостовую площадку, о которой говорил начальник охраны. Но после первого же выстрела пес сменил укрытие, и вторая пуля ушла в траву. Начинало смеркаться, и Ардабьев понял, что пес дождеться темноты и утащит кость. Смекалистый зверь. Умный. Знает, что человеку надо к нулевому идти. Все знает. Не зря кормили. Не зря человечину жрал. Женскую руку со следами от колец на пальцах. Серый с рыжинкой, пес умело прятался в сухой высокой траве. Ни разу не удалось взять его на мушку. Что ж. Ладно, зверь. Спрятав ружье в кустах, он ушел домой. Поужинал. Уложил Аленку спать. Гуся мимоходом спросила о собаках. Он рассказал.

«Ну и зверь! — удивилась она. — Так он тебя будет год мотать. Или пока с голоду не сдохнет. Может, отпустить его? Ну его к бесу».

«Ты думаешь, он в лесу приживется? — сказал Иван. — Он все равно сюда будет возвращаться.хлопот не оберешься. Бидончик мне дай-ка... в котором солидол был...»

Набрал полный бидончик керосина. Оделся.

«Иван! — ахнула Гуся. — Живой же!»

«Я тоже живой. Не год же мне с ним мызгаться, в самом-то деле».

Заслышав шаги, собака зарычала, подала голос.

«Ну-ну, ну-ну... — Ардабьев осторожно поставил бидончик на землю. Вытащил ружье из куста. — Осмелел ты, брат...»

От колючей проволоки в два приема выплеснул керосин на будку и в траву. Поджег. Огонь разгорелся быстро. Собака ошалело залаяла, захлебываясь, упершись передними лапами в землю, попыталась стащить с себя ошейник, прынула за будку, легла, вскочила — и бросилась на человека, который, сделав шаг в сторону, выстрелом из двух стволов вышиб ей мозги и глаза.

«Ты их хоть зарыл? — спросила Гуся, едва он переступил порог. — А то ведь Аленка завтра побежит смотреть».

«Зарыл».

«Не жалко?»

«Первого нет. А второго жалко. — Помолчав, добавил: — Как себя».

Весной горелое место затянулось хвощом и чахлой ромашкой. Проволоку, смотав, Иван отнес в сарай: вдруг пригодится?

Кучей, одна за другой, отбыли все служилые. Несколько дней на Девятку приходили телеграммы со всей Линии. С ним прощалась Стояхалка, навсегда сохранившая в заветной шкатулочке свою стальную втулку, раскалявшуюся добела от ардабьевского натиска, так что потом приходилось залечивать ожоги сырым яйцом и содой. С ним прощалась Могила, которой пришлось бросить с откоса свою доску-лежанку, пробитую Ардабьевым насквозь. С ним прощалась Роза-с-мороза, плакавшая о горах кедровой шелухи, пахнувшей Ардабьевым, о постели, пахнувшей Ардабьевым, о своем постаревшем теле, об увянувших грудях, меж которыми, прощаясь с Линией, она выколола портрет Ардабьева — с нимбом и крыльями зеленого цвета. Прощай, Дон, прощай. Он бросал их телеграммы в печь не читая.

У него не было ощущения распада и краха, ощущения конца жизни. Нулевой проходил все так же. Чик в чик. Правда, людей на разъезде осталось всего ничего: он да Гуся, да Аленка, да Фира с

сыном, да Вася безумный в своей каморке, которую он покидал только в полночь, когда проходил нулевой. Потом уехала и Аленка. Ее отвезли в интернат на Шестой, за сотни километров от дома. Иван попросил телеграфиста Шестерки раз в месяц сообщать, как живет дочка. И раз в месяц получал «Живет хорошо учится здорова целует шестой». Месяц за месяцем. Год за годом: «Живет хорошо учится здорова целует шестой». На лето приезжала на Девятку, бродила по путям, уходила в ближний перелесок, встречала и провожала нулевой вместе с отцом.

«Пап, а что это за нулевой?»

«Поезд».

«А правда, что мама под ним погибла?»

«Правда».

«Пап... а о чем ты мечтаешь?»

«Ни о чем. Я как собака: отгавкал свое, пожрал — и в будку. А ты?»

«По-честному? Прокатиться на пассажирском поезде. Ты когда-нибудь катался? Какой он?»

«Никогда. Не знаю — какой. Зачем тебе?»

«Если б знала, не мечтала бы».

Он чувствовал, что она одержима Алениным зудом беспокойства, который, если вдуматься, мало чем отличался от болезни, поражающей жителей Линии, а двоих — из тех, кого он знал, — поразившей насмерть. С Аленой — троих.

«Ты смотри мне, дочь».

«Да я ничего, пап. Меня учиться зовут, в училище. Чуть ли не в Москву».

Он долго хмурился, думал, прикидывал. Понял: не удержать. Да и незачем. Москва далеко от Линии, от яда, от отравы, которая незаметно проникает в душу и убивает или лишает человека рассудка. Пусть лучше будет Москва.

«Ладно, поезжай. Только помни, ясно? И смотри мне, ясно?»

Гуся плакала навзрыд, когда Аленка уехала. Иван мучился не-

мотой, так и не позволившей ему сказать дочери что-то важное. Он боялся слов. На прощание сунул книжку — Дюма. Пусть читает. Книжки обычно не выбрасывают, значит, будет помнить. Возьмет книжку в руки — и вспомнит.

Больше не приходили на Девятую телеграммы: «Живет хорошо учится здорова целует шестой». И писем не было — ни одного: уехала — забыла. Он уходил к мосту, чтобы не слышать Гусиных причитаний, подолгу сидел на холмике рядом с тем местом, где когда-то стояли собачьи будки, курил. Иногда стонал. Поймав себя на этом, тем же вечером напился и избил Гусю, избил всласть. Она снесла молча. Но больше он ее не трогал: уж больно приятно. А он трезвый человек, самостоятельный, его просто так с ног не собьешь, на колени не поставишь. Даже если жизнь подбросит что-нибудь такое... даже если нулевой остановится...

Остановился.

Ардабьев с фонарем прошел вдоль состава. Задраенные и опломбированные вагоны. Четыре звероподобных тяжело дышащих паровоза. И ни души. Покричал — в ответ ничего. Где машинисты? Кочегары? Где люди? Не дух же святой вел состав.

Вернулся на станцию и сам отбил телеграмму на Восьмую. Прошло много времени, прежде чем аппарат откликнулся: «Кто телеграфирует?» Отстучал: «Девятый начальник Ардабьев остановился нулевой что делать?» На этот раз телеграмма пришла тотчас: «Нет такого разъезда нет такого поезда нет аппарата Бодо Ардабьева нет конец». Он тупо уставился на ленту. Нет. Ничего и никого. А что же тогда вокруг? И что стоит за окном и тяжело сопит четырьмя паровозами? И что за аппарат выбивает ленту? И кто же тогда он? Шутники. Нашли, заразы, время для шуток. Рыжего на вас нету, он бы вам ввернул мозги в сустав. Это ж Личия, с ней шутки плохи. Повторил запрос. Аппарат молчал. Еще раз. Еще. Озлившись, отстучал: «Это я убил рыжего полковника я

убил Мишу Ландау я убил своего отца мать я убил Васю я убил Ардабьева». Ни слова в ответ. Нет, так не бывает. Он в здравом уме. Он жив. Он не спит, не грезит наяву. Линия — вот она. Нулевой — вот он. И сейчас он отправит этот поезд. Он не может не отправить этот поезд. Он его отправит, даже если придется тянуть зубами. Он вышел на перрон и, до боли сжав зубы, высоко поднял фонарь. Отправление. Пора. Ну же, пошла, железка чертова. Давай, трогай. Тутукай, ети мать. Ну же. Давай! Сопи, шипи, реви, гадина, ползи, вон отсюда, поехала, змеюжина, убирайся вон, к чертовой матери! Давай! Давай!

И поезд вдруг — тронулся.

Медленно, словно нехотя, двинулись с шипением масляно блестящие поршни. Выбился пар из свистка. У-у-у. Пошел. Пошел же! Ну! ну! ну! еще! И словно не выдержав его крика, чудовищного напора его вопля, его звериного воя, тяжелый состав таки тронулся, пошел, набирая скорость и, наконец, громыхая на стыках и вопя четырьмя свистками, помчался — туда! туда! Вперед-не-знаю-куда, откуда нет возврата, и ладно, лишь бы — шел! шел! Шел...

Поезда шли с интервалом в несколько минут. Сколько ж их? Словно прорвало. Он не заснул до утра. Слышал, как Гуся забрякала ведрами, пошла в сарай корову доить. Зачем им корова? Пора б и прирезать, все равно ни он, ни Гуся молока не пьют, все поросенку спаивают. Прирезать. Сел на кровати, пригладил ладонями жесткие волосы. Что же там белело у опоры моста? Выглянул в окно. В сером рассветном свете разглядел стул, косо стоявший на склоне. Фирин. Все, что осталось. Грязно-белые бумажные птицы в ее дворе прибиты дождем, облепили забор, стены опустевшего ее дома. Нету Фиры. Словно и не было. Да, впрочем, в последние годы ее и не было вовсе. Забила гвоздями вход — и исчезла. Он даже не заметил, как она пропала из аппаратной, уйдя на пенсию. Тенью бродила по ночам вокруг дома. Ветхая больная старуха. Однажды рано утром из ее дома

выскользнул мальчик в белых гольфах, скрутившихся на тонких ногах, в короткой курточке, сшитой из Мишиного пиджака с накладными карманами, с мешком-сидором за плечами. Промчался по дорожке к мосту, вскарабкался, хватаясь за перила, пробежал по ржавому железу рядом с колеей, стараясь не смотреть вниз, на коричневую воду, пенящуюся у опор, — ушел. Исчез. Одна осталась. И вот спустя столько лет тот мальчик вернулся и увез ее. Куда? Зачем? Иван покачал головой. Ни к чему ей уже не прилепиться.

Вскипятил чай. Пососал кусочек сахару.

За спиной стукнула дверь.

— Ухожу я, Иван, — сказала Гуся. — Пойдем вместе отсюда. Одна боюсь. Не то помру в пути...

— Куда пойдем-то? — через силу усмехнулся Ардабьев. — На кладбище, что ли? Только там нас и ждут.

— Аленку найдем. В Москве она.

— Откуда знаешь?

— Найдем. Нам что с тобой осталось? Вот и будем искать.

— Да она забыла про нас с тобой. Сколько лет уж...

— Пойдем, — повторила Гуся. — Родненький, пойдем. Дом весь трещинами тронулся, того и гляди обвалится да придавит, не хочу так умирать, не хочу! Лишь бы отсюда уйти, Иван, а там видно будет. Не дадут люди пропасть. — Помолчала. — Не то одна уйду.

Иван внимательно посмотрел на нее. Понял: уйдет.

— Я остаюсь, — наконец сказал он. — Остаюсь.

Отвернулся.

Стукнула дверь.

Один. Вот теперь действительно... впрочем, может быть, Гуся еще передумает.

Одевшись потеплее, вышел под дождь, который, кажется, начинал ослабевать. Стул на месте. Да и черт с ним. Скользя по глине, спустился к реке. Вон оно, белое. Что бы это могло быть? Похоже на... Отер ладонью лицо. Заспешил.

Это был утопленник. Совершенно голый, он покачивался в воде спиной вверх, застряв в кустах, понаросших между берегом и опорой моста. Руки глубоко в воде. Руками-то, видно, и зацепился за ивовые прутья.

Вернулся с багром. Подцепил утопленника под плечо, потянул. Труп развернуло течением, Иван резким движением подвел его к берегу. Взял за руку — и тотчас отпрянул. Мясо слезало с кости. Запах — о господи! Сколько ж он проплавал-то? Иван ополоснул руки в реке, глубоко вздохнул, взялся за гнилую голову и повернул ее к себе. Лица не было. Нос, губы, глаза — все рыбы съели. Ну и запах. Мутит. Что это у него в руке? Попытался вывернуть скрюченную руку, в которой был зажат какой-то металлический предмет. С трудом выкорябал железяку. Вроде торцевого гаечного ключа. Ага. Тщательно вымыл ключ, протер песком, ополоснул, сунул в карман. Ага. Багром оттолкнул покойника. Голова нырнула, вновь показалась — дыркой на виске, снова ушла в коричневую воду. Дырка в виске. Ключ. Течение подхватило труп и понесло. Дырка. Ключ. Ему вдруг стало жарко. Не может быть. Повторил в голос: «Не может быть». От того рыжего полковника и костей-то уже не осталось. Наверху прогремыхал очередной состав. Два паровоза впереди, два сзади, сто вагонов. Над рекой, опоясывающей землю, если правда, что земля — круглая. Над рекой, в воды которой можно войти дважды. И это — наказание. Возмездие. Вот тебе и река.

Сжимая в кармане стальной ключ, с трудом поднялся по раскисшей глине к дому.

Гуся в спальне собирала вещи.

— Ты чего? В самом деле, что ли? — пробормотал Иван. — Ну, а хозяйство куда? Корову, свинью — куда? Курей?

— Прирезать, — откликнулась Гуся. — С собой взять кусочек говядины да пару куриц, остальное закопать. Я тебе полосатую рубашку тоже ложу.

Иван тяжело вздохнул.

— Да не пойду я, Гуся. Сказал же.

— Как знаешь, — сухо сказала она. — Тогда я сама. Ты не человек, а железка. Я сама.

В своей комнате он с кряхтеньем опустил на стул, придвинул к себе Васину тетрадь. Развернул. Чистый лист. Следующий — тоже. Быстро пролистал всю тетрадь. Может, ошибка? Да нет, вот же вырвано. Однако карандашного следа не видно. Получается, Вася ничего не писал? Всю жизнь обещал, обещал — да так и не собрался. Впрочем, почему это он вдруг решил, что Вася писал? Мог писать? Откуда б ему силы на это взять? Ум? Все лопотал что-то бессвязное: тутти-мутти-гутен-таг-либер-брудер-ты-дурак-ха-ха-ха. Или мычал себе под нос бесконечную песню: у-у-у... ы-ы-ы... Вот эти «у» да «ы» и остались, а бумага и должна быть чистой. Иван захлопнул тетрадь. А может, ничего такого особенного он там и не узнал? Может, от дорожных невзгод да от собственных страхов свихнулся? От голода и холода? От одиночества? От заброшенности, никчемности, ненужности своей? Сходил — и ничего там не увидел, потому что там ничего и не было и нету. Ничего и никого. Место пусто. Голо. Хотя, может, и свято. Пришел туда, а там — Ничто. Гудит Ничто, хихикает, издевательски прихохатывает: «Что, Вася Дремухин, и ты попался на эту удочку? И ты в дурачки подался? Ну-ну, это на Руси — святое дело. Вот ты и пришел в святую землю, в обетованную-сраную, теперь гляди во все гляделки. И что видишь? Что слышишь? Ничего? А это и есть ответ на все твои вопросы. Главный Ответ. Ответ Ответыч. Ответ Ответов на Вопрос Вопросов. Не ожидал? Думал, приду — и разом, махом схвачу само-самое, все пойму, все заразумю, а тут — бяка. Голо. Мертво. Ни костей, которым все равно не ожить, ни живых, которым, честно говоря, тут просто делать нечего. Но уж тыщу лет тропку сюда торили, как же, как же не пойти, — свято! Или же ты этого ожидал, да не верил? А? То-то. Ожидал. И не верил. Вот и выходит, что дурак. Себя проморгал в ожидании ответа. Пшел вон, собака безрогая!» И пшел Вася вон. Вот и вся

сказка. Или что-нибудь в этом же роде. Ардабьев и раньше об этом думал, но воли себе не давал, да и некогда было: главное, чтоб нулевой прошел. Чик в чик. Иногда же, впрочем, казалось, что Там есть все, весь мир, вся жизнь, и весь мир и вся жизнь только потому и держатся, что вот здесь, на Девятке никому неведомой, никому неведомый старик-дурак стоит со своим фонарем, встречая и провожая нулевой. Вон там. Стучит. Очередной проходит. Или то сердце грохочет? Грохочет, сотрясая слабое тело. Сильное слабое. Без флажков всяких и фонарей, без семафоров и телеграфов — проходит нулевой и обходится без него, без старого дурака Ардабьева...

— Иван, а, Иван? — позвала из-за двери Гуся. — Проводить-то выйдешь, нет?

— Сейчас.

Взвалив на спину нетяжелый мешок, он зашагал за Гусей к мосту. Дождь прекратился. Небо посветлело.

Они с трудом поднялись на мост. На ржавом железе еще видны были следы от санок, на которых они свезли Васю на кладбище.

— Сходи на могилку-то, проведай, — сказала Гуся. — Да помяни Васю, в кладовке еще осталось чем.

— Ладно. Давай помогу.

Он поудобнее пристроил мешок на Гусиной спине, поправил лямки.

— Таки не пойдешь? — сказала она. — Железка... А ведь я любила тебя, Иван. Ей-богу. Как никого и никогда. Прощай, Ваня.

— Прощай.

Он прижался мокрыми губами к ее мокрой щеке. Долго смотрел вслед сгорбившейся под мешком старухе.

Ушла.

Остался он. Да нулевой. Последний человек на этой земле. Единственный. Некому больше сделать тут то, что полагается.

Дома долго отогревался, сидя на корточках у печки, прижав ла-

дони к кафельному боку. Ладно. Ему тут бояться некого, кроме себя. Пустыня безлюдная, безверная на сотни верст кругом. Прислушался: сердце или нулевой? Не понял.

— Да что же это такое?! — сердито закричал он, просыпаясь. — Что же это такое?!

Где люди? Почему трещины в стенах? От грохота нулевого. Или от грохота сердца, за жизнь свою поднакопившего горючей, взрывчатой горечи. Поезд. Он еще не кончился? Стучит? Господи. Надо же. Ничего и никого не осталось. Он. И все его имущество — кровь да память. Помнишь, Фира? Нету Фиры. Он сам все должен помнить, в одиночку. Тяжелое это дело. И тяжелее всего именно помнить, а не сравнивать.

Снова шел дождь. Стучал поезд. Который по счету? Тридцатый? Сотый? Стотысячный? И все нулевые?

В ушах стучало.

Пора.

Он закрыл за собой дверь, как закрывают крышку гроба — бережно. В комнате что-то упало и посыпалось. Что-то обрушилось. Но он не стал возвращаться. Не мог. Чему быть, того не миновать. Прошел до конца коридора, оглянулся через плечо. Потолок провис, растрескался, из трещин сыпалась какая-то труха, пыль. Дом дрожал от грохота проходящих поездов.

Рушился дом.

Вышел в темноту, в дождь. За спиной обрушился дверной проем. Вон даже как. Сверху упала и беззвучно разлетелась на кусочки черепица. Ладно. Перрончик осыпался, сполз на рельсы. Навес обвалился. Заглянул в аппаратную: потолок провалился, стены растрескались, один из шкафов с аппаратурой упал, перегородил помещение и в щепки разнесся стол, на котором недавно стоял гроб с Васей, а еще раньше здесь сидела Фира. Дом содрогнулся. Рама с остатками стекла треснула и вывалилась.

Подхватив фонарь, Ардабьев быстро зашагал к мосту по насы

пи. Налетевший поезд прогромыхал мимо, вздымая водяную пыль и подбрасывая мелкие камешки, сорвал шапку с головы, рванул дождевик — и скрылся.

Иван оглянулся. Дом рушился на глазах, не выдержав многочасового сотрясения от проходивших один за другим тяжеловесных поездов. Еще бы, четыре паровоза, сто вагонов, в каждом — шестьдесят четыре тонны или сто двадцать кубометров этой дряни... как ее? Тайны? Тайны. Крыша дома обрушилась внутрь, стены закачались и стали разваливаться. Наконец остался только острый огрызок стены, на котором что-то белело. Может, зеркало. Ни пыли, ни шума. Дождь, тьма, нулевой — очередной — грочет по мосту, рвет с плеч дождевик, обдает водяной пылью...

Люк поддался без труда. Вниз, на площадку, вела узкая ржавая лесенка. Ардабьев быстро спустился, уткнулся тотчас в дверь. Нашарил в кармане торцевой ключ, отнятый у покойника, открыл дверь. Поднял фонарь повыше. Посреди крохотного помещения на деревянном ящике стояла коробка, провода от нее уходили в толщу опоры. Поднял коробку — провода легко подались. Ну а если там, в глубине опоры, и нет ничего? А, рыжий? Не обманешь? Не должен бы... Веревкой примотал коробку к животу, прикрыл полами дождевика, полез по лесенке, проверяя, не застревают ли провода. Легко идут. Это хорошо. По Немецкой трамвай мчится... Девка штатна у руля... Это хорошо. Отдуваясь, выбрался на поливаемый дождем мост, опустил на конец шпалы, попытался закурить, но ветер срывал огонек спички. Ну и ладно, нет так нет.

Пора.

Схватившись рукой за перила, с кряхтеньем встал, выпрямился. Спину-то ломит, ломит. Стар. Да и то — столько-то прождать. Всю жизнь. Ведь ждал, а? Он сам себе подмигнул. Рыжий полковник прав: ждал. Думал: нулевой, еще нулевой, сто, тыща, сто тысяч нулевых, а потом, однажды, вдруг — и... и что? И ничего. Такой же

дурак, как Миша с Васей. Такой же отравленный. Кто-то даст приказ. Увы, некому, кроме него. Все самому на себя приходится брать: все эти смерти-гибели, всю разруху, глад и мор, все несчастья. И не потому, что он в этом виноват (не виноват, черти!), но — просто некому больше все это на себя взять. Так-то, рыжий. Этот приказ он себе сам должен отдать. Что ж, тогда — пора. Со всеми попрощался, всех проводил — кого в путь дальний, кого — в последний. Жену. Дочь. Возлюбленную. Брата. Врага. Всех. Людей...

Пора.

Движением плеч скинул дождевик. Ветер подхватил черную клеенку, хлопнул ею о перила, смял, подбросил и понес над черной рекой.

Пора.

Ему ходить. Вставил ключ в гнездо. Сердце колотилось, заглушая все звуки. Как бы прежде срока не лопнуло. Должно, должно выдержать. Столько в нем всего скопилось, столько прошлого, которому не давал выхода наружу, столько всего там, внутри, спрессовалось — в такую массу, что искры хватит запалить, рвануть, все разнести. Шагнул на шпалы. Вдали вспыхнул свет прожектора. Приближался, шел, стучал колесами нулевой, и мост ему не мост, и человек не человек. Ну-ну, посмотрим.

Тысяча тонн стали, чугуна и мерзлого дерева летели на набывшегося, сжавшегося старика, и быть может, ему стало бы легче от толчка, касания, сокрушительного удара, но ничего не было: ни толчка, ни касания, ни сокрушительного удара, ни мгновенной и потому прекрасной смерти, и тогда он изо всей силы крутанул ключ, превозмогая дрожь, сотрясавшую его тело, колотившую и разламывавшую его изнутри, из сердца, — в следующий миг он понял, что это не внутри, — и ослепительная вспышка, и чудовищный грохот взорвали ночь, вздыбили станцию, Линию, мир — и швырнули слабую плоть в безмерную пустоту будущего...

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕТЬЕ СЕРДЦЕ

5

ДОНДОМИНО

121

Литературно-художественное издание

Буйда Юрий Васильевич

ТРЕТЬЕ СЕРДЦЕ

Ответственный редактор *Ю. Качалкина*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *А. Чаплыгина*
Корректор *Р. Годгильдиева*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 27.08.2010.
Формат 70х90^{1/16}. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 14,0.
Тираж 3000 экз. Заказ № 6969.

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-41774-2



9 785699 417742 >

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**
E-mail: international@eksmo-sale.ru

**International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.**
International@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,
обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118.**
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanco@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanco-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.
Тел. (843) 570-40-45/46.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.
Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

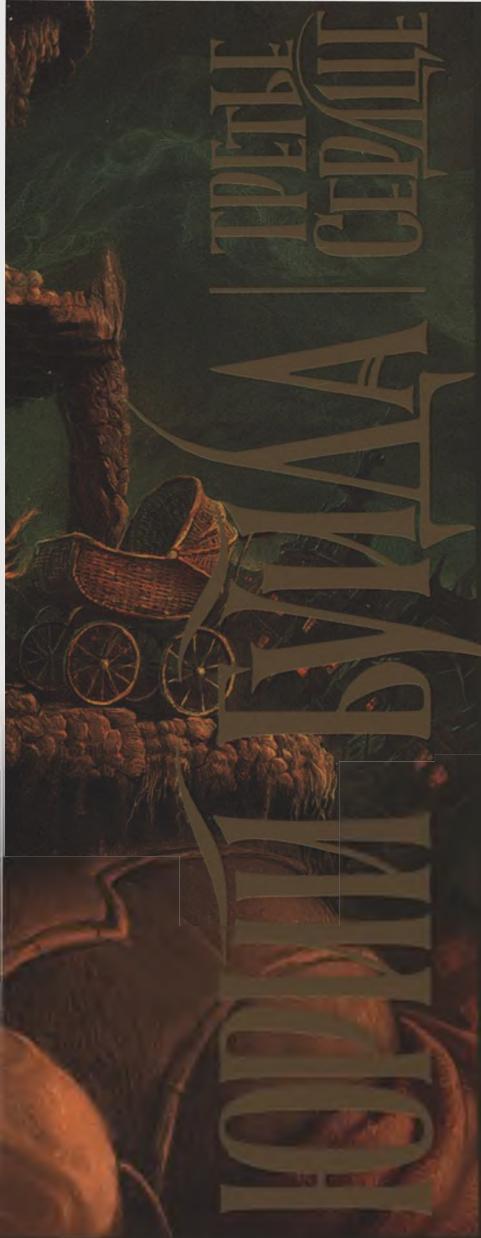
В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12. Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**



Юрий Буйда родился в 1954 году в поселке Знаменск Калининградской области. Окончил Калининградский университет, работал в СМИ, пройдя путь от фотокорреспондента районной до заместителя главного редактора областной газеты. Переехав в 1991 году в Москву, работал в «Российской газете», «Независимой газете», в журналах «Новое время», «Знамя», обозревателем газеты «Известия». Сейчас – редактор издательского дома «Коммерсантъ». Книги Юрия Буйды выходят во Франции, Великобритании, Эстонии, Польше, Венгрии, Словакии, Норвегии, Турции. Его рассказы послужили основой для спектаклей московского театра «Et cetera» под руководством А. Калягина, «Театра D» в Калининграде и театральной труппы «Theatre O» из Лондона. Отмечен премиями журналов «Октябрь» (1992), «Знамя» (1995, 1996), премией им. Аполлона Григорьева за книгу «Прусская невеста» (1998). В шорт-листы Букеровской премии входили его произведения «Дон Домино» (1994) и «Прусская невеста» (1999).

За статью о «Сатанинских стихах» Салмана Рушди в «Известиях» Юрий Буйда был «приговорен» гонителями писателя к смерти. Но он жив и продолжает писать – на радость многим и многим. Официальный сайт писателя: buida.ru

ISBN 978-5-699-41774-2



9 785699 417742 >